

ВАДИМ КОЖИНОВ

ПОБЕДЫ И БЕДЫ

РОССИИ



Уроки истории

Вадим Кожин
Победы и беды России

«Алгоритм»

2017

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

Кожин В. В.

Победы и беды России / В. В. Кожин — «Алгоритм»,
2017 — (Уроки истории)

ISBN 978-5-906979-29-2

В чем уникальность российской цивилизации и культуры? Почему, называя представителей любой национальности, мы используем существительные и только для себя, русских, прилагательное? Какая миссия заложена в таком определении и как в этом слове отразилось «инобытие всего реального тысячелетнего бытия народа»? Следует ли считать исторический путь нашего Отечества цельным или он прерывист, состоит из временных отрезков, преодолевать которые приходится неизменно обновляющейся России? На эти и другие вопросы отвечает в своей книге-бестселлере историк, литературовед и оригинальный мыслитель Вадим Кожин.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-906979-29-2

© Кожин В. В., 2017
© Алгоритм, 2017

Содержание

Введение	6
Часть первая	8
О месте России в мире	8
Почему произошло крушение СССР?	18
СССР: подъем – упадок – утрата веры	29
Необходимость связи времен	38
Часть вторая	45
О так называемой «новой хронологии»	46
Поэзия как первооснова литературы	49
«Семейная хроника» С. Т. Аксакова	72
Пушкин и Чаадаев. К истории русского самосознания	81
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Вадим Валерианович Кожин

Победы и беды России

© Ермилова Е. В., 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Введение

Существует ли проблема, поставленная в заглавии?

Можно предвидеть, что читатели воспримут подзаголовок этой книги с определенным недоумением: конечно же, скажут они, культура любого народа является порождением его истории, и это как бы и не требует доказательств. Но не в первый раз позволю себе напомнить общеизвестное «стихотворение в прозе» Ивана Тургенева «Русский язык» (1882), в котором в понятие «язык» («великий, могучий, правдивый и свободный»), без сомнения, включено и русское искусство слова, русская литература, представляющая собой ценнейшую и важнейшую составную часть отечественной культуры. Согласно этому лаконичному сочинению Ивана Сергеевича, все совершающееся в России заставляет «впасть в отчаяние», и один «язык» дает основание верить в величие русского народа...

Стоит сразу же привести высказывание другого писателя и мыслителя, Василия Розанова (из его сочинения 1909 года «Психология терроризма»), – высказывание, словно бы прямо и начисто опровергающее тургеневское. Человек с истинно зрелым сознанием начинает «постигать», – утверждал Василий Васильевич, – что, кроме России печатной, есть Россия живущая и что... не будь фактической Тамани, Лермонтову не о чем было бы написать, так же как Гончарову – „Обрыв“, а Толстому – „Детство и отрочество“, „Казаков“, „Войну и мир“, „Каренину“...» И с характерной для него заостренностью Розанов заключает: «... единственно одна Россия и есть у нас поэт, поющий песнь всею своею жизнью, а Пушкин, Лермонтов и Толстой всего лишь типографские наборщики...»

Скажут, что перед нами другая «крайность», но не надо забывать о прискорбном факте: после революции Василий Розанов на семь десятилетий был начисто «вычеркнут» из нашей культуры, а тургеневские строки учили наизусть в школах. Кстати, один из послереволюционных «руководителей» культуры, Анатолий Луначарский, который в 1917–1929 годах был наркомом просвещения, в 1924-м сказал о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Толстом и других: «Если... они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

И хотя позднее подобное «противопоставление» русской литературы и самого бытия России не провозглашалось в столь категорических формулировках, все же и сегодня есть немало людей, которые, скажем, преклоняются перед пушкинским гением, но весьма или даже резко «критически» относятся к породившей этот гений стране...

Следует обратить внимание еще и на тот факт, что те или иные откровенные зарубежные враги России, готовые отрицать само ее право на существование, все же признают величие творчества Толстого и Чайковского, Достоевского и Мусоргского, Чехова и Станиславского¹.

Словом, проблема, предложенная в заглавии этой книги, действительно существует.

Книга основывается главным образом на осмыслении органической связи отечественной истории и литературы – великой русской поэзии и прозы, хотя предметом внимания являются и другие виды искусства, а также философия, наука, особенный российский феномен «интеллигенция» (которая является или хотя бы считается носителем культуры) и т. п.

¹ В частности, известный ярый «руссофоб» маркиз де Кюстин, по его собственному признанию, был потрясен несравненным величием русских церковных песнопений.

То, что основное внимание уделено литературе, представляется вполне оправданным. Во-первых, общепризнано, что именно в сфере литературы Россия в XIX веке стала играть безусловно ведущую роль в мире в целом. Во-вторых, те другие виды искусства, в сфере которых Россия опять-таки заняла в новейшее время одно из достойнейших мест в мире, – музыка, театр, кинематограф – так или иначе связаны с русской литературой². Поэтому, опираясь главным образом на осмысление русской литературы, можно судить о русской культуре и ее взаимосвязи с историей в целом.

² Это относится и ко многим жанрам музыкального искусства... романсам, песням, операм и даже балетам («Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник», «Конек-Горбунок» и т. п.).

Часть первая

Россия как уникальная цивилизация и культура

О месте России в мире

1

С чисто географической точки зрения проблема вроде бы совершенно ясна: Россия со времени начавшегося в XVI веке присоединения к ней территорий, находящихся восточнее Уральского хребта, являет собой страну, которая частью входит в Европейский континент, а частью (значительно большей) – в Азиатский. Правда, сразу же встает вопрос о существенном своеобразии и даже уникальности такого положения вещей в современном мире, ибо остальные страны гигантского Евразийского материка всецело принадлежат либо Европе, либо Азии (3 процента территории Турции, находящиеся на Европейском континенте, – единственное «исключение из правила»). И в настоящее время даже и в самой России на указанный вопрос нередко дается способный огорчить многих русских людей ответ, который можно кратко изложить следующим образом.

Государство, сложившееся примерно тысячу двести лет назад и первоначально называвшееся Русью, было европейским (точнее, восточноевропейским), но начиная с XVI века оно, как и целый ряд других государств Европы – Испания, Португалия, Великобритания, Франция, Нидерланды и т. д., – предприняло широкомасштабную экспансию в Азию, превращая громадные ее территории в свои колонии³. После Второй мировой войны (1939–1945) государства Запада постепенно так или иначе «отказались» от колоний, но Россия по-прежнему владеет колоссальным пространством в Азии, и хотя после «распада СССР» в 1991 году более трети азиатской части страны стало территориями «независимых государств», нынешней Российской Федерации (РФ) принадлежат все же 13 млн. кв. км азиатской территории, что составляет третью часть (!) всего пространства Азии и, скажем, почти в четыре раза превышает территорию современной Индии (3,28 млн кв. км).

О том, являются (или являлись) вошедшие в состав России азиатские территории колониями, речь пойдет ниже. Сначала целесообразно поставить другой вопрос – об огромном пространстве России как таковом. Достаточно широко бытует представление, согласно которому чрезмерно большая территория при сравнительно небольшом населении, во-первых, свидетельствует об исключительных «имперских» аппетитах, а во-вторых, является причиной многих или даже (в конечном счете) вообще всех бед России – СССР.

В 1989 году на всем гигантском пространстве СССР, составлявшем 22,4 млн кв. км – 15 % всего земного шара (суши), – жили 286,7 млн. человек, то есть 5,5 % тогдашнего населения планеты. А ныне, между прочим, положение даже, так сказать, усугубилось: примерно 145 млн нынешних жителей РФ – менее 2,3 % населения планеты – занимают территорию в 17,07 млн кв. км (вся площадь РФ), составляющую 11,4 % земной поверхности, то есть почти в 5 раз больше, чем вроде бы «полагается»... Таким образом, те, кто считает

³ Правда, западноевропейские государства превращали в свои колонии земли не только Азии, но и Африки, Америки и Австралии.

Россию страной, захватившей непомерно громадную территорию, сегодня имеют, по-видимому, особенно веские основания для пропаганды этой точки зрения.

Однако даже самые устоявшиеся точки зрения далеко не всегда соответствуют реальности. Чтобы доказать это, придется опять-таки привести ряд цифр, хотя далеко не все читатели имеют привычку и желание разбираться в цифровых соотношениях. Но в данном случае без цифр не обойтись.

Итак, РФ занимает 11,4 % земного пространства, а ее население составляет всего лишь 2,3 % населения планеты. Но, например, территория Канады – 9,9 млн кв. км, то есть 6,6 % земной поверхности планеты, а живет в этой стране всего лишь 0,4 (!) % населения Земли (28 млн человек). Или Австралия – 7,6 млн кв. км (5 % суши) и 18 млн человек (менее 0,3 % населения планеты). Эти соотношения можно выразить и так: в РФ на 1 кв. км территории приходится 8,5 человека, а в Канаде – только 2,8 и в Австралии – всего лишь 2,3. Следовательно, на одного человека в Канаде приходится в три раза больше территории, чем в нынешней РФ, а в Австралии даже почти в четыре раза больше. И это не предел: в Монголии на 1,5 млн кв. км живут 2,8 млн человек, то есть на 1 кв. км приходится в пять раз меньше людей, чем в России.

Исходя из этого, становится ясно, что утверждение о чрезмерном-де обилии территории, которым владеет именно Россия, – тенденциозный миф, который, к сожалению, внедрен и в умы многих русских людей.

Не менее существенна и другая сторона дела. Более половины территории РФ находится немногим южнее или даже севернее 60-й параллели северной широты, то есть в географической зоне, которая, в общем и целом, считается непригодной для «нормальной» жизни и деятельности людей: таковы расположенные севернее 58 градуса Аляска, северные территории Канады, Гренландия и т. п. Выразительный факт: Аляска занимает ни много ни мало 16 % территории США, но ее население составляет только 0,2 % населения этой страны. Еще более впечатляет положение в Канаде: ее северные территории занимают около 40 процентов всей площади страны, а их население – всего лишь 0,02 % (!) ее населения.

Совершенно иное соотношение сложилось к 1989 году в России (имеется в виду тогдашняя РСФСР): немного южнее и севернее 60 градуса жили 12 % ее населения (18 млн человек)⁴, то есть почти в 60 раз большая доля, чем на соответствующей территории США, и почти в 600 (!) раз, чем на северных территориях Канады.

И вот именно в этом аспекте (а вовсе не по исключительному «обилию» территории) Россия в самом деле уникальная страна.

Один из главных истоков государственности и цивилизации Руси город Ладога в устье Волхова (к тому же исток, как доказала современная историография, изначальный; Киев стал играть первостепенную роль позже) расположен именно на 60-й параллели северной широты. Здесь важно вспомнить, что западноевропейские «колонизаторы», внедряясь в страны Южной Азии и Центральной Америки (например, в Индию или Мексику), находили там высокоразвитые (хотя и совсем иные, нежели западноевропейская) цивилизации, но, добравшись до 60 градуса (в той же северной Канаде), заставляли там – даже в XX веке – поистине «первобытный» образ жизни. Никакие племена планеты, жившие в этих широтах с их климатическими условиями, не смогли создать сколько-нибудь развитую цивилизацию.

А между тем Новгород, расположенный не намного южнее 60 градуса, уже к середине XI века являл собой средоточие достаточно высокой цивилизации и культуры. Могут возражать, что в то же время находящиеся на той же северной широте южные части Норвегии и Швеции были цивилизованными. Однако благодаря мощному теплomu морскому течению

⁴ Возможно, что сегодня, после «реформ», весьма значительная часть этих людей покинула «север».

Гольфстрим⁵, а также общему характеру климата Скандинавии и, кстати сказать, Великобритании (океаническому, а не континентальному, присущему России⁶) зимние температуры в южной Норвегии и Швеции в среднем на 15–20 (!) градусов выше, чем в других находящихся на той же широте землях, и снежный покров, если изредка и бывает, то не более месяца, между тем как на той же широте в районе Ладоги-Новгорода снег лежит 4–5,5 месяца! В отличие от основных стран Запада в России необходимо в продолжение более половины года интенсивно отапливать жилища и производственные помещения, что подразумевает, понятно, очень весомые затраты труда.

Не менее важно и другое. В истории высокоразвитой цивилизации Запада громадную роль играл водный – морской и речной – транспорт, который, во-первых, во много раз «дешевле» сухопутного и, во-вторых, способен перевозить гораздо более тяжелые грузы. Тот факт, что страны Запада окружены незамерзающими морями и пронизаны реками, которые или вообще не замерзают, или покрываются льдом на очень краткое время, во многом определил беспрецедентный экономический и политический динамизм этих стран. Разумеется, и в России водные пути имели огромное значение, но здесь они действовали в среднем только в течение половины года.

Словом, сложившаяся тысячелетие назад вблизи 60-й параллели северной широты и в зоне континентального климата государственность и цивилизация Руси в самом деле уникальное явление; если ставить вопрос «теоретически», его как бы вообще не должно было быть, ибо ничто подобное не имело места на других аналогичных территориях планеты. Между тем в суждениях о России уникальные условия, в которых она сложилась и развивалась, принимают во внимание крайне редко, особенно если речь заходит о тех или иных «преимуществах» стран Запада сравнительно с Россией.

А ведь дело не только в том, что Россия создавала свою цивилизацию и культуру в условиях климата 60-й параллели (к тому же континентального), то есть уже не столь далеко от Северного Полярного круга. Не менее многозначителен тот факт, что такие важнейшие города России, как Смоленск, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск и т. д., расположены примерно на 55-й параллели, а в Западной Европе севернее этой параллели находится, помимо скандинавских стран, одна только Шотландия, также «утепляемая» Гольфстримом. Что же касается США, вся их территория (кроме почти безлюдной Аляски) расположена южнее 50 градуса, между тем как даже южный центр Руси, Киев, находится севернее этого градуса.

В нынешней же РФ территории южнее 50-й параллели составляют 589,2 тыс. кв. км – то есть всего лишь 3,4 % (!) ее пространства (эти южные земли населяли в 1989 году 20,6 млн человек – 13,9 % населения РСФСР – не намного больше, чем в самых северных областях). Таким образом, Россия сложилась на пространстве, кардинально отличающемся от того пространства, на котором развивались цивилизации Западной Европы и США, притом дело идет не только о географических, но и геополитических отличиях. Так, громадные преимущества водных путей, особенно незамерзающие моря (и океаны), которые омывают территории Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и т. д., а также США, – основа именно геополитического «превосходства».

Тут, впрочем, может или даже должен возникнуть вопрос о том, почему территории Азии, Африки и Америки, расположенные южнее стран Запада (включая США), в тропической зоне, явно и по многим параметрам «отставали» от западной цивилизации. Наиболее краткий ответ на такой вопрос уместно изложить следующим образом. Если в арктической

⁵ Точнее, Северо-Атлантическому.

⁶ Стоит упомянуть, что зима в Кубанской степи, расположенной почти на 2000 км южнее Скандинавии, все же продолжительнее и суровее, чем в южных частях Норвегии и Швеции!

(или хотя бы близкой к ней) географической зоне огромные усилия требовались для элементарного выживания людей и их деятельность, по сути дела, исчерпывалась этими усилиями, то в тропической зоне, где, в частности, земля плодоносит круглый год и не нужны требующие больших затрат труда защищающие от зимнего холода жилища и одежда, выживание давалось как бы «даром», и не было настоятельных стимулов для развития материальной цивилизации. А страны Запада, расположенные в основном между 50-й и 40-й параллелями, представляли собой с этой точки зрения своего рода «золотую середину» между Севером и Югом.

Выше изложены «общедоступные» сведения, но они, как уже сказано, крайне редко учитываются в рассуждениях о России и – что особенно прискорбно – при сопоставлениях ее истории (и современного бытия) с историей (и современным бытием) Западной Европы и США. Как ни странно, подавляющее большинство идеологов, рассуждающих о тех или иных «преимуществах» западной цивилизации над российской, ставят и решают вопрос только в социально-политическом плане: любое «отставание» от Запада в сфере экономики, быта, культуры и т. д. пытаются объяснить либо (когда речь идет о Древней Руси) «феодальной раздробленностью», либо (на более поздней стадии), напротив, «самодержавием», а также «крепостничеством», «имперскими амбициями», наконец, «социалистическим тоталитаризмом».

Если вдуматься, подобные толкования основаны, в сущности, на своего рода мистицизме, ибо, согласно им, Россия-де имела все основания, чтобы развиваться так же, как и страны Запада, но некие зловещие силы, прочно угнездившиеся с самого начала ее истории на верхах государства и общества, подавляли или уродовали созидательные потенции страны...

Именно в духе такого «черного» мистицизма толкует историю России, например, небезызвестный Е. Гайдар в своем сочинении «Государство и эволюция» (1995 г. и последующие издания). В заключение он заявляет о необходимости «сместить главный вектор истории России» (с. 187) – имеется в виду вся ее история!

Помимо прочего, он считает необходимым «отказаться» от всего «азиатского» в России. И в этой постановке вопроса с наибольшей очевидностью выступает заведомая несостоятельность воззрений подобных идеологов. Дело в том, что «отказ» от всего «азиатского» означает именно отрицание всей отечественной истории в целом.

Как уже было упомянуто, Россия начала присоединение к себе территорий Азии (то есть зауральских) только в конце XVI века, но совместная история восточных европейцев-славян и азиатских народов началась восемью столетиями ранее, во время самого возникновения государства Русь. Ибо многие народы Азии вели тогда кочевой образ жизни и постоянно двигались по громадной равнине, простирающейся от Алтая до Карпат, нередко вступая в пределы Руси. Их взаимоотношения с восточными славянами были многообразны – от жестоких сражений до вполне мирного сотрудничества. Насколько сложными являлись эти взаимоотношения, очевидно из того, что те или иные враждующие между собой русские князья нередко приглашали на помощь половцев, пришедших в середине XI века из Зауралья и поселившихся в южнорусских степях. Более того, еще ранее, в IX–X веках, Русь вступила в опять-таки сложные взаимоотношения с другими азиатскими народами – хазарами, булгарами, печенегами, торками и т. д.

К сожалению, многие «антиазиатски» настроенные историки внедрили в массовое сознание представление об этих «азиатах» только как о чуть ли не смертельных врагах Руси; правда, за последние десятилетия было создано немало основательных исследований, из которых явствует, что подобное представление не соответствует исторической реальности⁷.

⁷ См. подробный обзор этих исследований в моей книге «История Руси и русского Слова. Современный взгляд» (М.,

Даже определенная часть хазар (козар), входивших до последней трети X века в весьма агрессивный по отношению к Руси Хазарский каганат, присоединились к русским, о чем свидетельствует богатырский эпос, один из достославных героев которого – Михаил Козарин.

Ложно понимается, увы, и ситуация, воссозданная во всем известном «Слове о полку Игореве», где будто бы изображена роковая непримиримая борьба половецкого хана Кончака и русского князя Игоря, между тем как историю их конфликта венчает женитьба сына Игоря на дочери Кончака, принявшей Православие (как, кстати, и сын Кончака Юрий, выдавший свою дочь за великого князя Руси Ярослава Всеволодовича).

Насколько рано и прочно была связана Русь с Азией, свидетельствует древнейшее из имеющихся западноевропейских сообщений о русском государстве – сделанная в 839 году (1160 лет назад!) во франкских «анналах» запись, согласно которой правитель Руси зовется «хаканом», то есть азиатским (тюркским) титулом (каган; впоследствии этот титул имели великие князья Руси Владимир Святославич и Ярослав Мудрый).

Итак, за восемь столетий до того момента, когда Россия пришла за Урал, в Азию, сама Азия пришла на Русь и затем не раз приходила сюда в лице многих своих народов – вплоть до монголов в XIII веке.

В связи с этим нельзя не сказать, что, как ни прискорбно, до сего дня широко распространены тенденциозные – крайне негативные – представления о существовавшей в XIII–XV веках Монгольской империи, хотя еще в конце прошлого столетия один из крупнейших востоковедов России и мира В. В. Бартольд (1869–1930) опроверг усвоенный с Запада миф об этой империи как чисто «варварской» и способной лишь к разрушительным акциям.

«Русские ученые, – констатировал Бартольд, – следуют большею частью по стопам европейских», но вопреки утверждениям последних, «монголы принесли с собой очень сильную государственную организацию... и она оказала сильное воздействие во всех областях, вошедших в состав Монгольской империи». В. В. Бартольд сетовал, что многие российские историки говорили о монголах «безусловно враждебно, отрицая у них всякую культуру, и о завоевании России монголами говорили только как о варварстве и об иге варваров... Золотая Орда была культурным государством; то же относится к государству, несколько позднее образованному монголами в Персии», которая в «монгольский» период «занимала первое место по культурной важности и стояла во главе всех стран в культурном отношении» (см. об этом подробно в моей упомянутой выше книге «История Руси...»).

Категорически негативная оценка Монгольской империи (как, впрочем, и всего «азиатского» вообще) была внедрена в Россию именно с Запада, и о причинах этого еще пойдет речь. Стоит привести здесь суждение о монголах одного из наиболее выдающихся деятелей Азии XX века – Джавахарлала Неру:

«Многие думают, что, поскольку они были кочевниками, они должны были быть варварами. Но это ошибочное представление... у них был развитый общественный уклад жизни, и они обладали сложной организацией... Спокойствие и порядок установились на всем огромном протяжении Монгольской империи... Европа и Азия вступили в более тесный контакт друг с другом»⁸.

Последнее соображение Дж. Неру совершенно верно и весьма важно. Вспомним хотя бы, что европейцы впервые совершили путешествия в глубины Азии только после возникновения Монгольской империи, объединившей территории Азии и Восточной Европы и тем самым создавшей прочное евразийское геополитическое единство.

1997, второе дополненное издание – М., 1999).

⁸ Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1975. Т. 1. С. 314, 319.

Правда, этого рода утверждения вызывают у многих русских людей неприятие, ибо при создании Монгольской империи Русь была завоевана и подверглась жестоким атакам и насилиям. Однако движение истории в целом немыслимо без завоеваний. То геополитическое единство, которое называется Западом, складывалось, начиная с рубежа VIII–IX веков, в ходе не менее жестоких войн Карла Великого и его преемников. Созданная в результате этих войн Священная Римская империя впоследствии разделилась на целый ряд самостоятельных государств, но без этой Империи едва ли могла сложиться цивилизация Запада в целом, ее геополитическое единство. И чрезвычайно показательны, что впоследствии западные страны не единожды снова объединялись – в империях Карла V и Филиппа II (XVI век) или Наполеона (начало XIX века).

Евразийская монгольская империя в XV веке разделилась (точно так же, как и западно-европейская) на ряд самостоятельных государств, но позднее, с конца XVI века, российские цари и императоры в той или иной мере восстанавливали евразийское единство. Точно так же, как и на Западе, это восстановление не обошлось без войн. Но в высшей степени многозначительно, что властители присоединяемых к России бывших составных частей Монгольской империи занимали высокое положение в русском государстве. Так, после присоединения в середине XVI века Казанского ханства его тогдашний правитель, потомок Чингисхана Едигер, получил титул «царя Казанского» и занимал второе место – после «царя всея Руси» Ивана IV – в официальной государственной иерархии. А после присоединения в конце XVI – начале XVII века монгольского Сибирского ханства чингизиды – сыновья всем известного хана Кучума – вошли с титулами «царевичей Сибирских» в состав российской власти (см. об этом в моей книге «История Руси...»).

Подобные исторические факты, к сожалению, малоизвестны, а без их знания и осмысления нельзя понять действительный характер России как евразийской державы, – в частности, решить вопрос о том, является ли азиатская часть России ее колонией.

Побывав в начале XX века в азиатской части России, британский государственный деятель Джордж Керзон, который в 1899–1905 годах правил Индией (с титулом «вице-короля»), писал: «Россия, бесспорно, обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном смысле слова... Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами», к чему «англичане никогда не были способны»⁹.

По-своему замечательно это рассуждение профессионального «колонизатора». Он явно не в состоянии осознать, что народы Азии не были и не могли быть для русских ни «чуждыми», ни «низшими», ибо, как уже говорилось, с самого начала существования государства «Русь» складывались, несмотря на те или иные военные конфликты, тесные и равноправные взаимоотношения с этими народами, – в частности имели место многочисленные супружества в среде русской и азиатской знати. Между тем люди Запада, вторгаясь в XVI–XX веках в Азию, Америку, Африку и Австралию, воспринимали «туземцев» именно как людей (вернее, «недочеловеков») «чуждых и низших рас». И целью осуществляемого странами Запада с конца XV века покорения Американского, Африканского, Австралийского и большей части Азиатского континентов было не имевшее каких-либо нравственных ограничений выкачивание материальных богатств из этих континентов.

Впрочем, достаточно широкое хождение имеют такие же толкования судьбы присоединенных к России территорий Азии. Но вот вроде бы частный, но весьма показательный факт. Двадцать с лишним лет назад я познакомился с молодым политическим деятелем Гватемалы Рафаэлем Сосой – страстным борцом против колониализма во всех его проявлениях. Он и прибыл в Москву потому, что видел в ней своего рода оплот антиколониализма. Но через

⁹ Цит. по книге: *Нестеров Ф.* Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., 1980. С. 107–108.

некоторое время он – вероятно, после бесед с какими-либо «диссидентами» – с присущей ему прямоотой заявил мне, что обманут в своих лучших надеждах, ибо русские эксплуатируют и угнетают целый ряд азиатских народов, то есть сами являются колонизаторами. Я пытался переубедить его, но тщетно.

Однако затем он совершил большое путешествие по СССР и, вернувшись в Москву, с той же прямоотой попросил у меня извинения, поскольку убедился, что люди в русских «колониях» живут не хуже, а нередко и намного лучше, чем в Центральной России, между тем как уровень и качество жизни в западных «метрополиях» и зависимых от них (хотя бы только экономически) странах отличаются в громадной степени и с полной очевидностью.

Конечно, проблема колониализма имеет еще и политические, и идеологические аспекты, но тот факт, что «азиатские» крестьяне, рабочие, служащие, деятели культуры и т. д. имели (и имеют) в нашей стране не менее или даже более высокий уровень жизни, чем русские люди тех же социальных категорий¹⁰, говорит о заведомой несостоятельности представления об азиатских территориях России как о колониях, подобных колониям Запада, где такое положение дел немыслимо.

Следует также отметить, что отношение русских к азиатским народам России предстает в кардинально более благоприятном виде, нежели отношение англичан, немцев, французов, испанцев к оказавшимся менее «сильными» народам самой Европы. Великобритания – это страна бриттов, но сей народ был стерт с лица земли англичанами (англами); та же судьба постигла государство пруссов, занимавшее весьма значительную часть будущей Германии (Пруссию), и много других западноевропейских народов.

В России же были ассимилированы только некоторые финские племена, населявшие ее центральную часть (вокруг Москвы), но они не имели ни государственности, ни сколько-нибудь развитой цивилизации (в отличие от упомянутых пруссов). Правда, исчезли еще печенеги, торки, половцы¹¹ и ряд других тюркских народов, но они как бы растворились в полукочевой Золотой Орде, а не из-за какого-либо воздействия русских. Около ста азиатских народов и племен, сохранившихся в течение веков на территории России (и позднее СССР), – неоспоримое доказательство национальной и религиозной терпимости, присущей евразийской державе.

В связи с этим немаловажно напомнить, что азиатские воины на протяжении веков участвовали в отражении атак на Русь-Россию с Запада. Как известно, первое мощное нападение Запада имело место еще в 1018 году, когда объединенное польско-венгерско-немецкое (саксонское) войско сумело захватить Киев. Польский князь (позднее король) Болеслав Великий совершил свой поход будто бы только с целью посадить на киевский престол своего зятя (супруга дочери) Святополка (Окаянного), которого лишил власти его сводный брат Ярослав Мудрый. Однако, войдя в Киев, захватчики ограбили его казну и увели тысячи киевлян в рабство, и, согласно сообщению «Повести временных лет», даже и сам Святополк вступил в борьбу со своими коварными «друзьями».

Польский хронист французского происхождения, известный как Галл, повествуя о событиях 1018 года, счел необходимым сообщить, что в войне с армией Болеслава на стороне Руси приняли участие и азиаты – печенеги. Это вроде бы противоречит нашей летописи, ибо в ней говорится о союзе печенегов со Святополком. Но вполне возможно, что в междоусобной борьбе Святополка и Ярослава печенеги оказались на стороне первого; когда же началась война с врагами, пришедшими с Запада, печенеги бились именно с ними, о чем

¹⁰ Вот, например, выразительный показатель: в 1989 году в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Грузии, Армении более или даже намного более значительная (в 1,6 раза!) доля семей, чем в РСФСР, имела легковые автомобили (См.: Социальное развитие СССР. Статистический сборник. М., 1990. С. 144).

¹¹ В высшей степени характерно, что великий русский композитор А. П. Бородин подарил половцам своего рода бессмертие в своих известных всему миру «Половецких плясках».

и поведал Галл, а русский летописец умолчал об этой роли печенегов – быть может, из нежелания хоть как-либо умалить заслугу Ярослава Мудрого.

Аналогично обстоит дело с информацией о победе в 1242 году Александра Невского над вторгшимся на Русь тевтонским войском. Германский хронист Гейденштейн сообщил, что «Александр Ярославич... получивши в подмогу татарские вспомогательные войска... победил в сражении», но наша летопись об этом не сообщает.

Достоверность сведений Галла и Гейденштейна находит подтверждение в том, что во время тяжелой Ливонской войны 1558–1583 годов, когда Россия отстаивала свои исконные северо-западные границы в борьбе с немцами, поляками и шведами, в нашей армии, как это известно с полной достоверностью, весомую роль играли азиатские воины, и одно время даже командовал всей русской армией хан Касимовский чингизид Шах-Али (по-русски Шигалей).

Нельзя не сказать еще об особенной составной части населения России – казачестве, которое, как убедительно доказано в ряде новейших исследований, имело «смешанное» русско-азиатское происхождение (показательно, что само слово «казак» – тюркское). В течение долгого времени казачество находилось в достаточно сложных отношениях с российской властью, но в конечном счете стало мощным компонентом российской армии; Наполеон в 1816 году заявил: «...вся Европа через десять лет может стать казацкою...»

Правда, сие «предсказание» было необоснованным, ибо Россия никогда не имела намерения завоевать Европу¹², но слова Наполеона красноречиво говорят о возможностях того русско-азиатского казацкого воинства, с которым он столкнулся в России.

* * *

Редко обращают внимание на тот факт, что Запад, начиная с конца XV века, за сравнительно недолгое время и даже без особо напряженных усилий так или иначе подчинивший все континенты (Америку, Африку, большую часть Азии и Австралию), вместе с тем, несмотря на многочисленные мощные вторжения в нашу страну (первое, как сказано, состоялось в 1018 году – без малого тысячу лет назад), не смог ее покорить, хотя ее не отделяют от Запада ни океан (или хотя бы море), ни горные хребты.

В этом уместно усматривать первопричину присущей Западу русофобии в буквальном значении сего слова (то есть страха перед Россией). Русофобией проникнута, в частности, известная книга француза де Кюстина «Россия в 1839 году»¹³. Поскольку широкое распространение получили лишь ее значительно и тенденциозно сокращенные переводы на русский язык, она считается «антирусской», всячески, мол, дискредитирующей Россию. В действительности этот весьма наблюдательный француз был (при всех возможных оговорках) потрясен мощью и величием России; в частности, на него произвел огромное впечатление тот факт, о котором шла речь выше, – создание столь могучей державы на столь северной территории Земли: «...эта людская раса... оказалась вытолкнута к самому полюсу... война со стихиями есть суровое испытание, которому Господь пожелал подвергнуть эту нацию-избранницу, дабы однажды вознести ее над многими иными».

Проницательно сказал Кюстин и о другой стороне дела: «Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть этот результат ужасающего (то есть порождающего русофобию. – В. К.) соединения европейского ума и науки с духом Азии» («русско-азиатское» казачество, как уже говорилось, «ужасало» и самого Наполеона).

¹² См. об этом подробно в моей книге: Россия. Век XX. 1939–1964. Опыт беспристрастного исследования. М, 1999, С. 35–52.

¹³ Подробно о ней см. ниже.

Следует признать, что французский путешественник яснее и глубже понял место России в мире, чем очень многие русские идеологи и его времени и наших дней, считающие все «азиатское» в отечественном бытии чем-то «негативным», от которого надо освободиться, и лишь тогда, мол, Россия станет в полном смысле слова цивилизованной и культурной страной. Подобного рода представления основаны на глубоко ложном представлении о мире в целом, что превосходно показал в своей книге «Европа и человечество» (1920) замечательный мыслитель и ученый Николай Трубецкой (1890–1938).

Он писал, что «европейски образованным» людям «шовинизм и космополитизм представляются... противоположностями, принципиально, в корне отличными точками зрения». И решительно возразил: «Стоит пристальнее всмотреться в шовинизм и в космополитизм, чтобы заметить, что принципиального различия между ними нет, что это... два различных аспекта одного и того же явления».

Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в мире является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершеннее всех остальных культур...

Космополит отрицает различия между национальностями. Если такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество должно быть едино и иметь единую культуру... Однако посмотрим, какое содержание вкладывают космополиты в термины „цивилизация“ и „цивилизованное человечество“? Под „цивилизацией“ они разумеют ту культуру, которую в совместной работе выработали романские и германские народы Европы...

Таким образом, мы видим, что та культура, которая, по мнению космополитов, должна господствовать в мире, есть культура такой же определенной этнографически-антропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шовинист... Разница лишь в том, что шовинист берет более тесную этническую группу, чем космополит... разница только в степени, а не в принципе... теоретические основания так называемого... „космополитизма“... правильнее было бы назвать откровенно общероманогерманским шовинизмом»¹⁴.

Нет сомнения, что «романо-германская» цивилизация Запада, создававшаяся в своего рода оптимальных географических и геополитических условиях (о чем шла речь выше) обладает многими и очевидными преимуществами в сравнении с другими цивилизациями, в том числе и российской. Но столь же несомненны те или иные преимущества этих других цивилизаций, что, кстати сказать, признавали многие идеологи самого Запада. Правда, подчас такие признания имеют весьма своеобразный характер... Выше цитировались суждения Дж. Керзона, который правил Индией и посетовал, что, в отличие от русских, «англичане никогда не были способны» добиться «верности и даже дружбы» со стороны людей «чуждых и низших рас». То есть британец усмотрел «превосходство» русских в прагматизме их поведения в Азии, хотя вообще-то именно Запад явно превосходит своим прагматизмом другие цивилизации, и в устах западного идеолога эта «похвала» является весьма высокой. Дело в том, однако, что, как уже сказано, для русских отнюдь не характерно то восприятие людей Азии («чуждые и низшие расы»), о котором без обиняков высказался британский государственный деятель. И вернемся теперь к размышлениям Николая Трубецкого. То, что он называет «космополитизмом», в наше время определяют чаще всего как приверженность к «общечеловеческим ценностям», но в действительности-то при этом речь идет именно и только о западных ценностях, которые обладают-де абсолютным превосходством над ценностями иных цивилизаций.

¹⁴ Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 57–60.

В высшей степени показательны, что Керзон истолковал отношение русских к людям Азии как выражение уникального прагматизма; ему, очевидно, представлялось просто немислимым сложившееся за тысячелетнюю историю единство русских и «азиатов». И, заключая размышление о месте России в мире, уместно сказать, что ее евразийское единство в самом деле является общечеловеческой или, употребляя слово Достоевского, всечеловеческой ценностью, которая, будем надеяться, еще сыграет свою благотворную роль в судьбах мира.

Почему произошло крушение СССР?

Почти невероятно быстрое и в сущности не вызвавшее фактического сопротивления крушение великой державы чаще всего стремятся объяснить нежизнеспособностью ее экономического и политического устройства, хотя одни авторы утверждают, что нежизнеспособен социализм как таковой, ибо он представляет собой насильственно реализованную утопию, а другие видят в том строе, который установился после 1917 года, извращенную форму социализма, подменившую «творчество самих народных масс»¹⁵ партийно-государственным диктатом (правда, имеют место и объяснения краха СССР поражением в «холодной войне» с Западом, но об этом речь пойдет ниже).

Однако такого рода толкования порождают серьезные сомнения, как только мы вспоминаем, что за три четверти века до краха СССР совершился поистине мгновенный и не пробудивший сопротивления крах Российской империи. Василий Розанов с характерной для него «лихостью», но верно писал о Февральском перевороте 1917 года: «Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом ничего».

А один из активнейших участников этого переворота В. Б. Станкевич не без известного изумления вспоминал в 1920 году, что Февраль – это даже «не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений». Из этих характеристик между прочим явствует, что происшедшее в 1991 году было все же гораздо менее катастрофическим, нежели в 1917 году...

Стоит еще привести суждения французского посла в России в 1914–1917 годах Мориса Палеолога (между прочим, потомка последнего императора Византии). На Западе, писал он, «самые быстрые и полные изменения связаны с переходными периодами, с возвратами к старому, с постепенными переходами. В России чашка весов не колеблется – она сразу получает решительное движение. Всё разом рушится, всё – образы, помыслы, страсти, идеи, верования, всё здание»¹⁶.

Сегодня, впрочем, имеются идеологи (например, всем известный Гайдар), с точки зрения которых, дореволюционная «самодержавная» Россия также являлась нежизнеспособным феноменом, и, следовательно, ее мгновенный крах был столь же естественным. Но, поскольку едва ли уместно считать экономические и политические устройства, существовавшие до 1917-го и после него, однотипными, истинная причина двух аналогичных крушений кроется не в этих устройствах, а, надо думать, в чем-то другом.

Убедить в первостепенном значении этого «другого» нелегко, ибо в общественное сознание с давних пор внедрялось именно экономико-политическое объяснение хода истории, которое еще в конце XVIII века начало складываться в России под воздействием западноевропейской идеологии (отнюдь не только марксистской; сам Карл Маркс не раз признавал, что, например, понятие о «классовой борьбе» как движущей силе истории сложилось задолго до появления его сочинений).

На вопрос о том, почему в феврале 1917 года произошло крушение Российской империи, многие и сегодня ответят, что трудящиеся массы, рабочие и крестьяне, разрушили эту Империю, ибо она жестоко «эксплуатировала» и «угнетала» их.

Но как это совместить с тем несомненным фактом, что в крушении Империи более значительную роль, чем какие-нибудь пролетарии и крестьяне, сыграли, например, начальник

¹⁵ Определение, употреблявшееся В. И. Лениным.

¹⁶ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1923. С. 57.

штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии М. В. Алексеев, или командир Гвардейского морского экипажа великий князь (двоюродный брат императора) Кирилл Владимирович, или член Государственного совета, крупнейший предприниматель (владевший громадным по тем временам капиталом в 600 тысяч руб.) А. И. Гучков?

Аналогичное положение и через три четверти века: роль в крушении СССР члена Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлева, или кандидата в члены Политбюро Б. Н. Ельцина, или академика, трижды Героя Соцтруда А. Д. Сахарова, конечно же, несравнима с ролью каких-либо рабочих и колхозников...

И другая сторона дела: «эксплуатация» и «гнет», скажем, за шестьдесят лет до 1917 года, то есть при крепостном праве, и за те же шестьдесят лет до 1991-го, в период индустриализации и коллективизации, были, без сомнения, гораздо тяжелее, чем в канун обоих крушений, но власть в стране держалась тогда достаточно прочно.

Наконец – и это опять-таки многозначительно – оба вроде бы столь грандиозные крушения привели к очень малому количеству человеческих жертв; никакие действительные «сражения» между сторонниками Российской империи и впоследствии СССР и их противниками не имели места. Мне напомним, конечно же, что после краха Российской империи началась убийственная гражданская война, а после крушения СССР – цепь различных кровавых конфликтов. Однако это уже явно совершенно другая проблема.

Множество неоспоримых фактов убеждает, что гражданская война 1918–1922 годов шла не между сторонниками рухнувшей Империи и ее противниками, а между теми, кто пришел к власти в результате Февральского переворота, и свергнувшими их в Октябре большевиками. Показательно, что белых называли также кадетами (по названию партии, игравшей первостепенную роль в Феврале). Наконец, самое весомое место в гражданской войне занимали мощные восстания или хотя бы бунты крестьянства, которое, вовсе не желая возврата к Империи, не желало подчиняться и «новым» – красной и равным образом белой – властям. И следует осознать, что в советской историографии белым безосновательно приписывали цель восстановления «самодержавия» – ради их компрометации¹⁷.

Вполне аналогично после 1991 года приписывают «реваншистское» стремление восстановить тоталитарный СССР всем оппозиционным по отношению к новой власти силам; именно так трактуется, например, принесший жертвы конфликт в октябре 1993 года у так называемого Белого дома. При этом игнорируется тот бесспорный факт, что большинство людей, возглавлявших тогда «защиту» Белого дома, начиная с А. В. Руцкого и Р. И. Хасбулатова, всего двумя годами ранее, в августе 1991-го, «защищали» тот же «дом» от пытавшегося сохранить СССР так называемого ГКЧП!

Такой оборот дела по меньшей мере странен, и едва ли можно понять суть происшедшего в 1991-м и последующих годах, основываясь на анализе событий самого этого времени; то, что совершилось тогда, как представляется, имело очень глубокие корни в отечественной истории.

* * *

Как уже отмечено, наиболее широко распространенные толкования истории России с давних пор и во многом опираются на ту методологию, которая была выработана на «материале» истории Запада (в том числе марксистскую), хотя русские люди наивысшего духовного уровня не раз утверждали, что подобный подход к делу заведомо несостоятелен.

¹⁷ См. подробное изложение существа дела в моей книге: Россия. Век XX. 1901–1939. Опыт беспристрастного исследования. М., 1999.

Я имею в виду вовсе не каких-либо «славянофилов» или «почвенников». Так, не могущий быть причисленным к ним Пушкин настоятельно призывал: «Поймите же... что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы». Крупнейший мыслитель пушкинской поры Чаадаев (который, кстати, слывет «западником») безоговорочно утверждал, что «мы не Запад», что «Россия не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их. Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов... и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации... Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое».

Впрочем, обратимся к конкретным проявлениям «своеобразия» России. Все знают «формулу», которую в конце жизни дал Пушкин (и даже «чувствуют» ее глубокий смысл, хотя редко вдумываются в него): «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Поставив эпитеты после слова «бунт», Пушкин тем самым усилил и заострил их значение. «Бессмысленный» – то есть, по сути дела, бесцельный, не ставящий перед собой практических задач, а «беспощадный» – значит, уничтожающий все попавшееся под руку, в частности то, что, без сомнения, могло бы быть использовано бунтовщиками в своих интересах (так, бунтующие крестьяне сжигали массу благоустроенных поместий).

Речь идет именно о русском бунте, ибо, например, даже, казалось бы, совсем «дикий» бунт английских луддитов конца XVIII – начала XIX века, уничтожавших изобретенные тогда машины, имел вполне определенные прагматические цели – возвращение на предприятия безработных, вытесненных механизацией, и восстановление той, более высокой заработной платы, которую давал ручной труд.

Правда, во множестве сочинений и «русские бунты» толкуются как целенаправленная борьба трудящихся масс за улучшение своего социально-экономического положения, вызванная особо возросшими перед каким-либо из этих бунтов «эксплуатацией» и «гнетом». Но едва ли есть серьезные основания полагать, что самые мощные из этих бунтов – «болотниковщина» (1606–1607 годы), «разинщина» (1670–1671), «булавинщина» (1707–1709), «пугачевщина» (1773–1775)¹⁸ – разражались в силу резкого увеличения этих самых «эксплуатации» и «гнета», которые будто бы были намного слабее в периоды между бунтами.

Один из наиболее проникательных отечественных историков В. О. Ключевский утверждал, что истинной причиной булавинского бунта (как и других бунтов Смутного времени) «было насильственное и таинственное пресечение старой династии и потом искусственное восстановление ее в лице самозванцев»¹⁹. То есть суть дела заключалась в недоверии широких слоев населения к наличной власти.

О разинщине и других бунтах времени царя Алексея Михайловича Ключевский писал: «В этих мятежах резко вскрылось отношение простого народа к власти... ни тени не то что благоговения, а и простой вежливости и не только к правительству, но к самому носителю верховной власти» (там же, с. 240), что было вызвано церковной реформой 1653–1667 годов, которая, по убеждению значительной части народа, отвергла истинное Православие.

Далее, «стрелецкие, астраханский, булавинский» бунты Ключевский неразрывно связывает с народным представлением о Петре Великом как «антихристе» (т. 4, с. 232).

¹⁸ Зачинщиками всех этих бунтов была обладавшая оружием «казацкая вольница», которая до конца XVIII века, в сущности, видела в Русском государстве своего врага, но бунты приобретали широкий и мощный характер лишь при условии, что к ним присоединялась более или менее значительная часть населения России.

¹⁹ Ключевский В. О. Сочинения. М., 1956–1959. Т. 3. С. 49.

Что же касается пугачевщины, Василий Осипович дважды и весьма развернуто осмыслил ее причины (см.: т. 5, с. 141–185 и 347–368). Основное можно вкратце изложить следующим образом. До Петра I включительно крестьянство «служило» дворянству, а последнее – царю, то есть государству. Но ко времени Екатерины II дворянство, в сущности, перестало быть «служилым» сословием, и, как писал Ключевский, «крепостное право... потеряло прежний смысл, свое главное политическое оправдание» (с. 141); новое положение вещей воспринималось населением как «незаконное» и подлежащее исправлению путем также «незаконных восстаний» (с. 181), хотя, конечно, немаловажное значение имело объявление Пугачева сумевшим спастись от гибели законным царем Петром III, который и призван покончить с «незаконностью».

Вполне естественно, что в «марксистских» комментариях к цитируемому изданию 1950-х годов Ключевский был подвергнут весьма жесткой критике за непонимание «социально-экономических» причин болотниковщины (см.: т. 3, с. 367), разинщины (там же, с. 365), булавинщины (т. 4, с. 363) и пугачевщины (т. 5, с. 397). Но Ключевский обосновал свои выводы многочисленными и многообразными фактами, и, как уже отмечено, вряд ли можно доказать, что именно в канун всех этих бунтов «эксплуатация» и «гнет» приобретали крайний характер.

Величайший наш поэт-мыслитель Тютчев дал полную глубокого значения «формулу»:

В Россию можно только *верить*²⁰.

Обычно эту «формулу» воспринимают в чисто духовном аспекте: в отличие от других стран (Тютчев, без сомнения, имел в виду страны Запада), совершающееся в России нельзя объяснить рационально («умом»), и остается только верить (или не верить) в нее. Но, как мы видели, Ключевский, по сути, дела толковал мощные бунты как плоды именно утраты веры в наличную Россию. И конечно, особенно важен и впечатляющ тот факт, что в нашем столетии, в 1917 и в 1991 годах, страна претерпела крах не из-за каких-либо мощных бунтов (кровавые конфликты имели место позднее, уже при «новых» властях), а как бы «беспричинно».

Это уместно истолковать следующим образом. Если при всей мощи бунтов XVII–XVIII веков веру в наличную Россию утрачивала тогда определенная часть ее народа, то в XX веке это произошло с преобладающим большинством населения страны, притом во всех его слоях. Ничего подобного нельзя обнаружить в истории Запада, как не было там и мощных «бессмысленных» бунтов. Тем не менее многие идеологи, закрывающие глаза на эти поистине уникальные «феномены» истории России, пытаются толковать ее согласно европейским «формулам».

Восстания и революции на Западе, о чем уже говорилось, преследовали, как правило, конкретные практические цели. Вот чрезвычайно показательное сопоставление: в 1917 году российского императора побудили отречься от престола уже на третий день после начала переворота, между тем во Франции после мощного восстания 14 июля 1789 года, поскольку определенные прагматические требования восставших были выполнены, король оставался на престоле более трех лет – до 10 августа 1792 года. Напомню цитированные выше суждения французского посла Палеолога о том, что на Западе даже «самые полные изменения» совершаются «постепенно», а в России рушится разом всё.

²⁰ При цитировании тютчевский курсив часто неоправданно игнорируют.

* * *

Как уже было отмечено, иные нынешние идеологи объявляют Россию вообще «ненормальной», «нежизнеспособной» страной, что, мол, и выразилось в мгновенных крушениях 1917 и 1991 годов. Однако нет оснований относиться к подобным воззрениям как к чему-то серьезному. Страна, чья государственность возникла на рубеже VIII–IX веков, то есть существует 1200 лет, страна, которая уже при Ярославе Мудром, то есть в первой половине XI столетия, занимала территорию, почти равную всей остальной территории Европы, страна, которая породила преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублева, воплотивших в себе то, что с полным основанием зовется «Святой Русью», страна, победившая захвативших ранее почти всю остальную Европу армады Наполеона и Гитлера, страна, создавшая одну из величайших мировых культур²¹, может предстать «нежизнеспособной», с точки зрения чисто «западнических» идеологов, но не реально. Россия не являет собой некое отклонение от западной «нормы»; ее история, по слову Пушкина, «требует другой формулы»; в России, по определению Чаадаева, «другое начало цивилизации».

Иначе, собственно, и не могло быть в силу поистине уникального характера фундаментальных основ бытия России, о которых шла речь в предшествующей главе моего сочинения – «Место России в мире». Во-первых, в тех географических и геополитических условиях, в которых сложились наши государственность и культура, не возникла ни одна другая цивилизация мира; во-вторых, только Россия с самого начала своей истории являет собой евразийскую страну. Между прочим, уже Чаадаев осознал, что «оригинальная Русская цивилизация» – плод слияния «стихий азиатской и европейской» и что монгольское нашествие из Азии, «как оно ни было ужасно, принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того чтобы разрушить народность, оно только помогало ей развиваться и созреть»²².

Не в первый раз я опираюсь на суждения Чаадаева, а также его младшего современника Пушкина, и не исключено, что у кого-либо возникнет определенное недоумение: почему первостепенное значение придается суждениям людей, явившихся на свет более двух столетий назад? Не вернее было бы обратиться к позднейшим выразителям отечественного самосознания? Однако мировосприятие Чаадаева и Пушкина, сложившееся, в частности, до раскола русских идеологов на славянофилов и западников, имеет во многом утраченный впоследствии целостный, не деформированный противостоящими пристрастиями характер. Ни Пушкин, ни Чаадаев не впадали в тот – по сути дела примитивный – «оценочный» спор, который начался в «роковые сороковые годы» (по выражению Александра Блока), длится до сего дня и сводится в конечном счете к решению вопроса: что «лучше» – Европа или Россия? Чаадаев и Пушкин, как ясно из всего их наследия, полагали, что Россия не «лучше» и не «хуже»; она – другая.

Конечно, если мерить Россию с точки зрения европейских «норм», она неизбежно предстанет, как нечто «ненормальное». Так, например, в Англии еще с XIII (!) века существовал избираемый населением парламент, по воле которого принимались законы, а на Руси слишком многое зависело от воли – или, как обычно говорится, произвола – великих князей и, позднее, царей, – в особенности, конечно, Ивана IV, получившего прозвание Грозный.

В новейших тщательных исследованиях Р. Г. Скрынникова «Царство террора» (1992) и Д. Н. Альшица «Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного» (1988) дока-

²¹ Вспомним хотя бы несколько имен творцов русской культуры, которые обрели наивысшее признание во всем мире: Достоевский, Толстой, Чехов, Шолохов, Чайковский, Мусоргский, Рахманинов, Шаляпин, Станиславский, Менделеев, Иван Павлов, Капица, Владимир Соловьев, Бердяев, Бахтин.

²² Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и писем. М., 1991. Т. 2. С. 161, 541.

зано, что при этом царе были казнены от 3 до 4 тысяч человек, преобладающее большинство которых – новгородцы, обвиненные в измене, так как обнаружилась «грамота», согласно которой Новгородская земля намеревалась отдаться под власть короля Польши Сигизмунда II. Р. Г. Скрынников полагает, что это была фальшивка, изготовленная «за рубежом то ли королевскими чиновниками, то ли русскими эмигрантами» (с. 367), но Иван IV поверил ей, и по его повелению началась расправа над новгородцами.

И вот многозначительное сопоставление. Как раз накануне царствования Ивана Грозного в Англии правил король Генрих VIII, получивший прозвание Кровавый (хотя английские историки почти не употребляют это прозвание). При нем, в частности, 72 тысячи человек были казнены за бродяжничество, которое тогда приобрело массовый характер, ибо многие владельцы земель сгоняли с них арендаторов-хлебопашцев, чтобы превратить свои земли в приносящие намного более значительную выгоду овечьи пастбища. Эти казни не были проявлением королевского произвола: закон, по которому пойманного в третий раз бродягу немедля вешали, принял избранный населением парламент, и, как говорится, суров закон, но закон...

Можно, конечно, согласиться с тем, что произвол чреват более тяжкими последствиями, чем закон, ибо с легкостью может обрушиться на ни в чем не повинных людей. Но ведь и людей, ставших бродягами из-за «перестройки» в сельском хозяйстве Англии, уместно считать ни в чем не повинными... А между тем по одному только закону о бродяжничестве за 28 лет правления Генриха VIII было казнено примерно в двадцать (!) раз больше людей, чем за 37 лет правления Ивана IV (притом количество населения Англии и Руси было в XVI веке приблизительно одинаковым).

Поэтому есть достаточные основания признать, что власть закона нельзя рассматривать как своего рода безусловную, непререкаемую ценность, хотя многие люди убеждены в обратном и видят абсолютное превосходство Запада в давно утвердившейся там власти закона.

При этом многие полагают, что именно «дефицит» законности, присущий с давних времен России, привел к громадным жертвам в годы революции. Но это несостоятельное мнение, ибо любая «настоящая» революция означает откровенный отказ и от законов, и от моральных норм. И из объективных исследований английской революции XVII века и французской XVIII – начала XIX явствует, что их жертвы составляли не меньшую долю населения, чем жертвы российской.

Столь же несостоятельно очень широко пропагандируемое (этим еще с 1960-х годов занимались так называемые правозащитники) мнение, согласно которому утверждение власти закона в нашей стране само по себе сделало бы ее подобной Западу. В действительности все обстоит гораздо сложнее.

* * *

Самое, пожалуй, главное отличие России от Запада заключается в том, что в ней отсутствует или, по крайней мере, очень слабо развито общество как самостоятельный и в определенной мере самодовлеющий феномен бытия страны. На Западе, помимо государства и народа, есть общество, которое, несмотря на то, что в него входят различные или даже противостоящие силы, в нужный момент способно выступить на исторической арене как мощная, вобравшая в себя преобладающую часть граждан страны и более или менее единая сила, способная заставить считаться с собой и правительство, и население в целом.

Это утверждение, как нетрудно предвидеть, вызовет возражения или даже недоумение, ибо не только у нас, но и на Западе считается, что именно для России характерны «общинность», «коллективизм», постоянно и ярко выражающиеся в непосредственных взаимоотно-

ношениях людей, между тем как люди Запада гораздо более сосредоточены на своих собственных, частных, личных интересах; им в гораздо большей степени присущ всякого рода «индивидуализм».

Но суть дела в том, что общество, существующее в странах Запада, не только не противостоит частным, личным – в конечном счете, «эгоистическим» – интересам своих сочленов, но всецело исходит из них. Оно предстает как мощная сплоченная сила именно тогда, когда действия правительства или какой-либо части населения страны угрожают именно личным интересам большинства.

Так, например, в ходе начавшейся в 1964 году и продолжавшейся около десяти лет войны США в Индокитае американское общество пришло к выводу, что эта война не соответствует интересам его сочленов и, в сущности, бесперспективна, организовало массовые протесты и заставило власти прекратить ее.

Подобных примеров «побед» общества над правительством в странах Запада можно привести множество. При этом необходимо только ясно осознавать, что дело идет о чисто прагматических интересах сочленов общества; в начале упомянутой войны общество США (за исключением отдельных не очень значительных его сил) отнюдь не возражало против нее и позднее начало активно протестовать не из каких-либо идеологических (например, «гуманных» и т. п.) соображений, а потому, что война предстала в качестве «невыгодной» для населения США.

Приведу еще один характерный пример. В 1958 году генерал де Голль был избран президентом Франции, а в 1965-м переизбран на второй семилетний срок. При нем страна во многом возродила свой статус великой державы, но именно из «прагматических» соображений считавшийся «отцом нации» де Голль был фактически свергнут французским обществом в ходе референдума 28 апреля 1969 года²³.

Именно воля общества определяет на Западе деятельность парламентов и других избираемых институтов. Между тем уже упомянутый французский посол Палеолог утверждал, что в «самодержавной» России «вне царского строя... ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок» (цит. соч., с. 56). Это может показаться безосновательным диагнозом, ибо к 1917 году в России имелись и партии, и даже парламент – Государственная дума, существовавшая с 1906 года. Но с западной точки зрения Палеолог все же вполне прав, ибо и Государственная дума, и политические партии, по сути дела, выражали в себе волю не способного включить в себя большинство населения общества, а интеллигенции²⁴ – этого специфического российского феномена.

Сошлюсь в связи с этим на свое сочинение «Между государством и народом. Попытка беспристрастного размышления об интеллигенции» («Москва», 1998, № 6, с. 124–137), а здесь скажу только, что интеллигенцию России можно понять как явление, в известной степени аналогичное обществу Запада, но именно аналогичное, а по сути своей принципиально иное, – несмотря на то что большинство интеллигенции вдохновлялось западными идеалами.

Интеллигенция – чисто российское явление; даже сам этот термин, хотя он исходит из латинского слова, заимствовался другими языками из русского. К интеллигенции нередко причисляют всех людей «умственного труда», но в действительности к ней принадлежат

²³ Так, большинство населения требовало тогда сокращения рабочей недели до 40 часов, пенсионного возраста – до 60 лет и увеличения минимальной зарплаты до 1000 франков (см.: *Молчанов Н.* Генерал де Голль. М., 1980. С. 473).

²⁴ Вот в высшей степени показательный факт. Партия большевиков до 1917 года насчитывала максимум 8 тысяч членов, хотя она вроде бы была партией многочисленного рабочего класса. На деле ее составляла, в основном интеллигенция. И поскольку менее радикальная интеллигенция была многочисленнее, количество членов либеральной кадетской партии достигало тогда 100 тысяч членов, то есть в 12 раз больше, чем «пролетарская»...

только те, кто так или иначе проявляют политическую и идеологическую активность (и естественно, имеют живой и постоянный интерес к политике и т. п.); они действительно образуют своего рода общество внутри России. Но оно кардинально отличается от того общества, которое существует на Западе и в качестве сочленов которого в нужный момент выступает преобладающее или даже абсолютное большинство населения страны. Могут возразить, что мы, мол, еще «нагоним» Запад, и то меньшинство населения, которое являет собой интеллигенция, станет большинством.

Однако *общество* Запада – совершенно иное явление, чем наша интеллигенция; помимо прочего, принадлежность к нему ни в коей мере не подразумевает причастность к политике, идеологии и т. п., ибо, как уже сказано, это общество основывается на сугубо *частных*, в конце концов «эгоистических», интересах его сочленов, которые сплоченно выступают против каких-либо политических и т. п. тенденций лишь постольку, поскольку эти тенденции наносят или способны нанести ущерб их собственному, личному существованию.

Можно с полным основанием утверждать, что в России (по крайней мере на сегодняшний день) создание общества западного типа невысказано. Ибо ведь российское интеллигентское «общество» – при всем его пиетете перед Западом – всегда выдвигало на первый план не столько собственные интересы своих сочленов, сколько интересы «народа» (пусть по-разному понимаемые различными интеллигентскими течениями), то есть имело, употребляя модный термин, совсем иной *менталитет*, чем общество Запада.

Правда, ныне есть идеологи, призывающие строить будущее на основе «эгоистических» интересов всех и каждого, но для этого пришлось бы превратить страну в нечто совершенно иное, чем она была и есть.

В силу уникальных (крайне неблагоприятных) географических и геополитических условий и изначальной *многонациональности* и, более того, «евразийства» (также уникального) России²⁵ государство не могло не играть в ней столь же уникально громадной роли, неизбежно *подавляя* при этом попытки создания общества западного типа, основанного на «частных» интересах его сочленов.

И «осуждение» «деспотической» государственности России, которым занимались и занимаются многие идеологи, едва ли основательно; тогда уж следует начать с осуждения тех наших древнейших предков, которые двенадцать столетий назад создали изначальный центр нашего государства – Ладогу (впоследствии Петр Великий построил поблизости от нее Петербург!) – не столь уж далеко от Северного Полярного круга, а несколько позже основали другой центр – Киев – около Степи, по которой народы Азии беспрепятственно двигались в пределы Руси...

* * *

Как представляется, «осуждать» исключительную роль государства в России бессмысленно: это положение вещей не «плохое» (хотя, конечно же, и не «хорошее»), а *неизбежное*. Вместе с тем нельзя не признать (и никакого «парадокса» здесь нет), что *именно этой ролью* нашего государства объясняются его стремительные крушения и в 1917-м, и в 1991 годах.

Те лица, которые так или иначе руководили Февральским переворотом 1917 года, полагали (это ясно из множества их позднейших признаний), что на их стороне выступит российское общество, которое после свержения «самодержавия» создаст новую любезную ему власть западного типа – с либеральным правительством, контролируемым парламентом и т. п. Но такого общества в России попросту *не имелось*, и вместо созидания нового порядка

²⁵ Об этом подробно говорилось в предыдущей главе моего сочинения.

после Февраля начался *хаос*, который позднее был посредством беспощадного насилия прекращен гораздо более деспотичной, нежели предшествующая, имперская, властью, установленной в СССР.

Между прочим, прозорливый государственный деятель, член Государственного совета П. Н. Дурново писал еще в феврале 1914 года, что в результате прихода к власти интеллигентской «оппозиции», полагавшей, что за ней – сила общества, «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию», ибо «за нашей оппозицией нет никого. Наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет».

Это со всей очевидностью подтвердила судьба Учредительного собрания: только *четверть* участников выборов отдала свои голоса большевикам, но когда последние в январе 1918 года «разогнали» это собрание, никакого сопротивления не последовало, то есть общество как реальная сила явно отсутствовало...

Обратимся к 1991 году. Подавляющее большинство населения СССР не желало его «раздела», о чем неоспоримо говорят итоги референдума, состоявшегося 17 марта 1991 года. В нем приняли участие почти три четверти взрослого населения страны, и 76 % (!) из них проголосовали за сохранение СССР.

Едва ли возможно со всей определенностью решить вопрос о том, почему это внушительнейшее большинство не желало распада страны – в силу идеологической инерции или из-за понимания или хотя бы *предчувствия* тех утрат и бедствий, к которым приведет ликвидация великой державы. Но так или иначе ясно, что *общества*, способного проявить свою силу, в стране не было, ибо в августе 1991-го ГКЧП, чьи цели соответствовали итогам референдума, не получил никакой реальной поддержки, а «Беловежское соглашение» декабря того же года не вызвало ни малейшего реального сопротивления...

В начале этого размышления речь шла об идеологах, которые считают существование СССР непонятно каким образом продолжавшейся три четверти столетия *утопией*; однако именно проект превращения России в страну западного типа является заведомо *утопическим*.

Нынешние СМИ постоянно вещают о *единственном*, но якобы вполне реализованном в России западном феномене – *свободе слова*. Есть основания согласиться, что с внешней точки зрения мы не только сравнялись, но даже превзошли в этом плане западные страны; так, СМИ постоянно и крайне резко «обличают» любых властных лиц, начиная с президента страны. Но *слово*, в отличие от Запада, не переходит в *дело*. Из-за отсутствия обладающего реальной силой *общества* эта свобода предстает как чисто формальная, как своего рода игра в свободу слова (правда, игра, ведущая к весьма тяжелым и опасным последствиям – к полнейшей дезориентации и растерянности населения). Возможно, мне возразят, указав на отдельные факты отставки тех или иных должностных лиц, подвергнутых ранее резкой критике в СМИ. Но едва ли есть основания связывать с этой критикой, скажем, быстротечную (совершившуюся в продолжение немногим более года) смену четырех *глав* правительства страны в 1998–1999 годах; для населения эти отставки были не более или даже, пожалуй, менее понятными, чем в свое время подобного рода отставки в СССР.

Впрочем, и сами СМИ постоянно утверждали, например, что страной реально и поистине неуязвимо управляет малочисленная группа лиц, которую называют «семьей» (причем, в отличие от состава верховной власти в СССР, даже не вполне ясен состав сей группы).

Многие, причем самые разные, идеологи крайне недовольны таким положением вещей. Однако в стране, где отсутствует *общество*, иначе и не могло и не может быть. И беда заключается вовсе не в самом факте наличия в стране узкой по составу верховной власти, а в том, *куда* и *как* она ведет страну. Начать с того, что власть – как это ни дико – занималась, по сути дела, *самоуничтожением*, ибо из года в год уменьшала *экономическую* мощь государства. Даже в США, которые можно назвать наиболее «западной» по своему устройству стра-

ной, государство (в лице федерального правительства) забирает себе около 25 % валового национального продукта (ВВП) и распоряжается этим громадным богатством (примерно 1750 млрд долл.) в своих целях (еще около 15 % ВВП вбирают бюджеты штатов). Между тем бюджет РФ в текущем году составляет, по официальным данным, всего лишь 10 % ВВП!

И другая сторона дела, в сущности также оставляющая дикое впечатление. Сама реальность российского бытия заставила президента и его окружение сосредоточивать (или хотя бы пытаться сосредоточивать) в своих руках всю полноту власти. Однако в то же время эта «верхушка» – в конце концов однотипная с той, которая правила СССР (разумеется, не по результатам деятельности, а по своей «властности»), – утверждала, что РФ необходимо превратить в страну западного типа и даже вроде бы предпринимала усилия для достижения сей цели, хотя, как уже сказано, из-за отсутствия в стране *общества* цель эта заведомо утопична.

* * *

И последнее. Вначале было отмечено, что достаточно широко распространено представление, согласно которому крушение 1991 года – результат «победы» Запада в «холодной войне» с СССР. Как известно, подобным образом толкуется нередко и крах 1917 года, который был-де вызван неудачами (подчас говорят даже о «поражении») России в длившейся уже более двух с половиной лет войне.

Нет сомнения, что война сыграла очень весомую роль в Февральском перевороте, но она все же была существеннейшим *обстоятельством*, а не *причиной* краха. Следует, помимо прочего, учитывать, что неудачи в войне сильно преувеличивались ради дискредитации «самодержавия». Ведь враг к февралю 1917 года занял только Царство Польское, часть Прибалтики и совсем уж незначительные части Украины и Белоруссии. А всего за полгода до Февраля завершилось блестящей победой наше наступление в южной части фронта, приведшее к захвату земель Австро-Венгерской империи (так называемый Брусиловский прорыв).

Стоит в связи с этим вспомнить, что в 1812 году враг захватил Москву, в 1941-м стоял у ее ворот, а в 1942-м дошел до Сталинграда и Кавказского хребта, но ни о каком перевороте не было тогда и речи. Так что война 1914–1917 годов – способствовавшая (и очень значительно) ситуация, а не причина краха. Суть дела была, о чем уже говорилось, в той утрате *веры* в существующую власть преобладающим большинством населения (и, что особенно важно, во всех его слоях, включая самые *верхние*), – утрате, которая ясно обнаружилась и нарастала с самого начала столетия.

Другое дело, что война была всячески использована для разоблачения власти – вплоть до объявления самых верховных лиц вражескими агентами, чем с конца 1916 года занимался не только либерально-кадетский лидер П. Н. Милюков, но и предводитель монархистов В. М. Пуришкевич!

Едва ли верно и представление о том, что крах 1991 года был по своей сути поражением в «холодной войне», хотя последняя, несомненно, сыграла весьма и весьма значительную роль. Она длилась четыре с половиной десятилетия и даже еще при Сталине пропаганда западных «радиоголосов», несмотря на все глушилки, доходила до миллионов людей. И вполне можно согласиться с тем, что достаточно широкие слои *интеллигенции*, которая и до 1917 года и после как бы не могла не быть в оппозиции к государству (ведь, как говорилось выше, она – своего рода аналог *общества*, которое в странах Запада всегда готово противустать государству), «воспитывались» на западной пропаганде. Но, как представляется, нет оснований считать «западническую» интеллигенцию *решающей* силой, те или иные действия которой привели к крушению СССР. Решающее значение имело, пожалуй, *бездействие* почти 20 миллионов членов КПСС, из которых только треть имела высшее образование (к тому же – об этом уже шла речь – далеко не всякий получивший образование человек

принадлежит к тому идеологически активному слою, который называется интеллигенцией). Эта громадная «армия», которой в тот момент, кстати сказать, фактически ничто не угрожало, без всякого заметного сопротивления сошла со сцены, что уместно объяснить именно утратой веры в наличную власть, к которой они в конечном счете были причастны как члены «правлящей» партии²⁶.

Это толкование, конечно же, предстанет в глазах множества людей, в сознание которых внедрено принципиально *политико-экономическое* объяснение хода истории в качестве «ненаучного». Но необходимо напомнить, что сам Карл Маркс признавал, что его «материалистическое понимание истории» основывалось на изучении истории *Англии* и полностью применимо только к *ней*. А в Англии парламент, выражавший *прагматические* (то есть прежде всего экономические) интересы индивидов, составляющих общество, существовал еще с XIII века; не раз писал Маркс и о том, что в странах *Азии* (и, добавлю от себя, в *России-Евразии*) дело обстояло принципиально по-иному.

И в высшей степени показательно, что те представители западной философии истории, которые стремились основываться на осмыслении опыта не только Запада, но и мира в целом – как, например, широко известный англичанин Арнольд Тойнби, – отнюдь не склонны к политико-экономическому пониманию исторического развития России.

Я стремился доказать, что основой стремительного крушения, которое пережила около десятилетия назад наша страна, явилась не политико-экономическая реальность того времени, а своего рода извечная «специфика» России-Евразии, каковая со всей очевидностью обнаружила себя еще четырьмя столетиями ранее – в пору так называемого Смутного времени. Конечно, не менее важен и вопрос о том, *почему* к 1991 году была *утрачена* вера большинства населения в СССР. Но об этом – в следующей главе.

²⁶ Стоит отметить, что после 1991 года появился целый ряд литературных сочинений и кинофильмов (иные из них донныне демонстрируются на телеэкране), в которых изображались опаснейшие коммунистические заговоры против новой власти, но все это было чистой фантастикой.

СССР: подъем – упадок – утрата веры

В предыдущей главе крушение СССР (как и ранее Российской империи) было объяснено утратой большинством населения *веры* в наличную страну, и вместе с тем говорилось, что в глазах многих людей это объяснение предстанет в качестве лишнего «научности», ибо господствует мнение, согласно которому ход мировой истории и, в особенности, кардинальные исторические сдвиги определяются прежде всего и главным образом *экономическими* причинами.

Но если можно – хотя и не безоговорочно – согласиться с тем, что в странах Запада дело обстоит именно так, подобное истолкование истории России является в конечном счете результатом заимствования западных концепций – прежде всего, понятно, марксистской. Следует вспомнить и о том, что *общество*, играющее первостепенную роль в бытии стран Запада (но фактически отсутствующее в России), основывается именно на *экономических* интересах его сочленов.

Но вот многозначительный, даже, так сказать, «сенсационный» факт. Не столь давно у нас было впервые опубликовано сочинение Карла Маркса (оно называется «Разоблачения дипломатической истории XVIII века»), в котором охарактеризовано многовековое историческое развитие России. Однако, как это ни неожиданно, *экономические* проблемы вообще не затрагиваются в данном сочинении; все сводится к чисто политическим и идеологическим проблемам. Осмысляя путь русской истории от Рюрика до Петра I и утверждая, что и далее (то есть до середины 50-х годов XIX века, когда было написано сочинение) этот путь остался по своей сути таким же, Маркс ровно ничего не говорит о развитии «производительных сил» и соответственных изменениях «производственных отношений» и т. п.

Он констатирует, в частности, что к концу правления Ивана III «Европа... была ошеломлена внезапным появлением на ее восточной границе огромной империи, и сам султан Баязид²⁷, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь москвиты». И далее корифей «материалистического (то есть экономического) понимания истории» говорит об Иване III:

«Православное вероисповедание служило вообще одним из самых сильных орудий в его действиях». И добавляет: «Между политикой Ивана III и политикой современной (то есть России 1850-х годов. – В. К.) существует не сходство, а тождество».

По-своему прямо-таки замечательно следующее обобщающее суждение «материалиста» Маркса о России: «Она является *единственным в истории* (выделено мной. – В. К.) примером огромной империи, само могущество которой, даже после достижения мировых успехов, всегда скорее принималось на веру (вспомним тютчевское: „В Россию можно только *верить*“! – В. К.), чем признавалось фактом».

Вполне закономерно, что цитируемое сочинение было опубликовано на русском языке только в 1989 году (см.: «Вопросы истории», № 1–4): слишком уж оно противоречит тому, что писали об истории своей страны российские марксисты!

А ведь сам Маркс со всей определенностью заявил, что его экономическое толкование истории вполне соответствует развитию одной только Англии, а для других, даже европейских, стран нужны известные корректировки и оговорки...

И, если вдуматься, «применение» к нашей истории марксизма – как, впрочем, и других западных концепций «экономического» характера – оказывается чем-то искусственным или даже с очевидностью искажающим реальность. Так, например, сложившееся на Западе в период раннего средневековья крепостничество по мере развития «производительных сил»

²⁷ Правил в 1481–1512 годах; при нем Турция захватила значительную часть Европы.

начинает ограничиваться и отмирать; между тем российское *крепостничество* действительно утверждается только в *конце XVI века* и приобретает наиболее широкий характер при Петре I! А ведь едва ли можно сомневаться в том, что «производительные силы» со времен Рюрика и до Петра весьма значительно развились...

Напомню также, что восстания населения на Западе, как правило, преследовали конкретные *экономические* цели; между тем сотрясавшие Россию мощные бунты были, по слову Пушкина, «бессмысленными», то есть не имевшими прагматических целей и, как убедительно доказывал Ключевский, порождались утратой веры в наличную Россию.

Необходимо со всей определенностью пояснить, что, говоря об утратах веры как причинах отечественных потрясений, я не имею в виду именно и только веру (или, в соответствии с традиционным написанием, Веру) в собственно религиозном смысле слова, хотя в какой-то степени и этот смысл присутствовал во всех российских катаклизмах. В России *вера* – о чем свидетельствует, в частности, словарь В. И. Даля, в котором представлено более семидесяти образований от слова «вера», – понятие очень емкое и многосмысленное.

Приведу здесь несущее в себе, на мой взгляд, глубокое содержание стихотворение, опубликованное в составленной мною части книги «Лучшие стихи года», изданной в Москве как раз в 1991 году. Его автор, наиболее, пожалуй, значительная современная поэтесса Светлана Сырнева, родилась в 1957 году в семье сельских учителей «захолустного» Вятского края²⁸. Отца ее матери, священника, в начале 1930-х годов объявили «лишенцем», то есть бесправным, и он вынужден был вместе с семьей покинуть родные места; после кончины дочь его вернулась в вятскую отчину, но должна была многие годы скрывать свое происхождение. А рано овдовевшую мать отца Сырневой, которая принадлежала к крепкой крестьянской семье (к тому же имевшей родственников-купцов), тогда же, в 1930-х, «раскулачили», о чем также долго старались не вспоминать...

Начавшая свою жизнь рядом с затерянной в вятских лесах деревенской школой Светлана Сырнева в конце концов узнала и осмыслила драматическую судьбу своей семьи, и тем не менее из-под ее пера вылилось стихотворение под заглавием «*Пропуси*»:

Помню: осень стоит неминуемая,
Восемь лет мне, и за руку – мама:
«Наша Родина – самая лучшая
И богатая самая».
В пеших далях – деревья корявые,
Дождь то в щеку, то в спину,
И в мои сапожонки дырявые
Заливается глина.
Образ детства навеки -
Как мы входим в село на болоте.
Вон и церковь с разрушенным верхом
Вся в грачином помете.
Лавка низкая керосинная
На минуту укроет от ветра.
«Наша Родина самая сильная,
Наша Родина самая светлая».
Нас возьмет грузовик попутный,
По дороге ползущий юзом,

²⁸ Отмечу, что речь идет о 57° северной широты – географической зоне, которая, кроме России, является почти необитаемой...

И опустится небо мутное
К нам в дощатый гремучий кузов.
И споет во все хилые ребра
Октябратский мой класс бритолобый:
«Наша Родина самая вольная,
Наша Родина самая добрая».
Из чего я росла-прозревала,
Что сквозь сон розовело?
Скажут: обворовала
Безрассудная вера.
Ты горька, как осина,
Но превыше и лести и срама -
Моя Родина, самая сильная
И богатая самая.

Обратим внимание на словосочетание в предпоследнем четверостишии: «*безрассудная вера*». Это все та же линия: «умом Россию не понять» и «в Россию можно только *верить*». И еще напомним написанное Пушкиным за сто дней до его гибели: «...наша общественная жизнь – грустная вещь» (в предыдущей главе речь шла о фактическом отсутствии *общества* в России). И все же непреклонно противостояние Поэта: «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме... такой, какой нам Бог ее дал».

Протягивая нить от Пушкина и Тютчева к стихотворению нашей современницы, я имею в виду не путь Поэзии, а путь людей, никогда не утрачивавших веру в Россию. Примерно на половине исторического пути от пушкинского до нынешнего времени, незадолго до 1917 года, Александр Блок написал общеизвестные строки:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые²⁹
Как слезы первые любви!

И речь идет только о том, что родившаяся в 1957-м внучка священника-«лишенца» и «раскулаченной» крестьянки не утратила веры в Россию (пусть и в облинии СССР).

Но, увы, таких людей к 1991 году было в стране не столь уж много... Светлана Сырнева писала мне 27 марта 1992 года, что «молодая вятская поэтическая поросль уже склонна считать меня обломком соцреализма».

Для сохранения присущей Светлане Сырневой веры в самом деле необходима иррациональная («безрассудная») убежденность:

Ты горька, как осина.
Но превыше и лести и срама -
Моя Родина, самая сильная
И богатая самая.

²⁹ Ср.: «Лавка... на минуту укроет от ветра...»

Без людей, проникнутых этой убежденностью (несмотря даже на тяжкие испытания, выпавшие на долю их семей и их самих), Россия вообще едва ли бы прожила 1200 лет, но такие люди всегда были и есть, и главная надежда на них...

Как не раз говорилось, истинная причина крушения СССР не в тогдашнем состоянии *экономики* страны (хотя те или иные кризисные явления, например товарный «дефицит», конечно, играли существенную роль). И многочисленные нынешние идеологи, которые утверждают, что в период перед крушением в СССР не было роста или даже происходило снижение уровня и качества жизни, попросту закрывают глаза на реальное положение вещей.

Так, например, в стране с конца 1950-х до начала 1990-х годов осуществлялось поистине грандиозное жилищное строительство – за год вводилось в действие не менее 100 млн, а в конце 1980-х более 130 млн кв. метров отапливаемой жилой площади. И если всего лишь за треть столетия до 1991 года абсолютное большинство населения обитало в тесных, набитых битком коммуналках, бараках и лишенных каких-либо «удобств» избах, и на душу приходилось не более 5 кв. м, то к 1991 году, несмотря на увеличение количества населения за указанный период почти на 40 % (!), имелось уже около 16 кв. м на душу населения, абсолютное большинство городских и очень значительная часть сельских жилищ располагало электричеством, газом, водопроводом, канализацией и т. п. К тому же затраты населения на оплату жилья и всех связанных с ним услуг были крайне незначительными.

Могут возразить, что в США на душу населения приходилось тогда в три с лишним раза больше жилой площади, чем в СССР (49 кв. м), но это сопоставление, мягко выражаясь, некорректно. Северная граница США (не считая почти безлюдной Аляски) проходит по широте Южной Украины и Нижнего Поволжья, а южная граница – уже в *тропической* зоне. И 75 % (!) населения США живут в домах, построенных из фанеры и картона. У нас в таких домах можно жить, понятно, лишь в летние месяцы; в связи с этим, между прочим, в США производится в два раза меньше цемента, чем в СССР, но почти в десять раз *больше* фанеры и картона (см. обо всем этом мою статью в № 12 журнала «Новый мир» за 1998 год). Словом, для того, чтобы «догнать» США по количеству жилой площади, нам, в сущности, пришлось бы изменить климат своей страны...

О том, сколь значительно, если выразиться официальным языком, «улучшились жилищные условия» в период с конца 1950-х до 1991 года, не мог не знать по своему личному опыту любой человек, который (пусть хотя бы еще в отроческом возрасте) застал начало этого периода, когда, скажем, отдельная благоустроенная квартира для семьи – пусть и самая тесная – считалась чуть ли не роскошью.

Конечно, «жилищная проблема» – только одна сторона дела, но она неоспоримо свидетельствует, что нет оснований для утверждений (достаточно широко бытующих) о якобы нараставшем *ухудшении* материальных условий жизни, которое-де и привело страну к краху. Вообще невозможно отрицать, что уровень и качество жизни в *последнее* десятилетие существования СССР были намного *выше*, чем во все предшествующие десятилетия после 1917 года.

Правда, в «высокоразвитых» странах, где проживали 15 % населения планеты, дело обстояло значительно или даже гораздо лучше, чем в СССР (об основных причинах этого речь шла выше). И весьма часто утверждают, что причиной крушения СССР явилось именно резкое недовольство населения «отставанием» с точки зрения жизненного уровня от «высокоразвитых» стран. Однако при этом истинную *причину*, в сущности, подменяют ее *следствием*, ибо активное и широкое превознесение «высокоразвитых» стран началось *после*, а не *до* крушения СССР. В частности, все главные апологеты Запада (Яковлев, Гайдар, Чубайс и т. п.) вплоть до 19 августа 1991 года являлись более или менее высокопоставленными деятелями КПСС и, естественно, не превозносили «капстраны».

Конечно, в тех или иных кругах этим превознесением занялись раньше, но чрезвычайно выразительно имевшее хождение еще до «перестройки» остроумное изречение: «Мы хотим работать так, как мы работаем, а жить – как живут они». Если вдуматься, эта вроде бы чисто анекдотическая фраза несет в себе весьма серьезный смысл, ибо в наших климатических и геополитических условиях люди, даже если бы и «хотели», *не могут* работать так, как в гораздо более благоприятных условиях высокоразвитых стран, где, например, не нужно многомесячное интенсивное отопление производственных помещений и где круглый год осуществляется наиболее дешевая транспортировка грузов по водным путям, а сельскохозяйственный сезон длится не 4–6, как в России, а 8–9 месяцев и т. п.

* * *

Попытаемся уяснить действительную причину крушения СССР – страны, после Победы 1945 года ставшей одной из двух великих держав мира, в политической и экономической сферах которой так или иначе, в той или иной степени находилось к 1960-м годам около *половины* (!) населения планеты, и простиралась эта сфера от Кореи на востоке до Кубы на западе, от Финляндии на севере до Анголы на юге. Правда, в ходе экономического, политического или даже военного противоборства те или иные страны, так сказать, переходили из рук в руки, либо утверждали свой особый статус, либо избирали «нейтралитет» и т. п., но тем не менее роль СССР на мировой арене в течение длительного периода была воистину колоссальной и в тех или иных аспектах превосходила роль США.

Ныне от этой роли, в сущности, не осталось и следа, но, взглядываясь в мировую историю, нетрудно понять, что в таком обороте дела нет ничего необычного (другой вопрос – крушение самого СССР в ситуации, когда не было ни войны с внешним врагом, ни восстания внутри страны, ни какой-либо иной катастрофы; вот это уж действительно нечто исключительное, уникальное).

В истории основных стран Европы периоды высшего *подъема* не раз сменялись периодами *упадка* – подчас крайнего. Так, после эпохи величия созданной германцами Священной Римской империи, в сущности правившей всей Европой, Германия переживает длительный упадок и даже разваливается на десятки разнородных государственных образований.

Позднее в качестве первой державы мира, которая не только подчинила себе значительную часть Европы, но и большие территории в Америке и Азии, выступает Испания, но спустя столетие и она утрачивает первостепенную роль.

В XVIII – начале XIX века первенствует Франция, но затем ее значение становится заведомо второстепенным, а в нашем столетии это произошло с Великобританией (гордо распевавшей «Правь, Британия...») – даже еще до потери ею большинства ее колоний.

Осмысление этих смен подъема и упадка заняло бы слишком много места, ибо каждая из них имела свой конкретный характер и смысл. Но в самом общем плане уместно сказать, что «первенствующие» страны, во-первых, *перенапрягли* и распыляли свои силы, и во-вторых, их великие достижения порождали своего рода *самоуспокоенность*, мешавшую предвидеть и предотвратить надвигающийся упадок.

Выражаясь попросту, любая *победа* таит в себе и определенную *беду*, что с особенной наглядностью проявляется в *научно-технических* достижениях, каждое из которых имеет свою *негативную* оборотную сторону (от атомных электростанций, способных обернуться Чернобылем, до антибиотиков, побеждающих многие болезни, но ведущих к опаснейшему ослаблению иммунитета...).

Неоспорима (несмотря на все бедствия и те или иные поражения) *победоносность* нашей истории в период, скажем, от Сталинградской битвы (конец 1942 – начало 1943) до

космического полета Юрия Гагарина (12 апреля 1961), – и то и другое, кстати, получило совершенно исключительный резонанс во всем мире.

Стоит отметить, что, если иметь в виду период с 1943 по 1961 год (выше шла речь об исключительной роли СССР в это время на мировой арене), утверждения многих нынешних идеологов о принципиальной-де нежизнеспособности политико-экономического строя СССР предстают как очевиднейшая нелепость.

Уместно обсуждать вопрос о том, что страна *стала* нежизнеспособной к 1990-м годам, но распространение сего диагноза на ее историю в целом – попросту несерьезное занятие.

Мне, вероятно, напомнят еще, что победа 1945 года стоила громадных жертв, – но великие победы вообще немыслимы без великих потерь. И нельзя не сказать еще, что, согласно новейшим скрупулезным подсчетам, потери нашей армии умершими и пленными, преобладающее большинство которых было фактически доведено до смерти во вражеских концлагерях, были гораздо более значительными в период наших тяжелых поражений, в 1941-1942-м, а не в период победных 1943-1945-го. 60 % наших потерь приходится на первые 18 месяцев войны, а на последующие 28 месяцев – 40 %, то есть в 1941–1942 годах средние потери в течение месяца в два раза (!) превышали средние потери победных месяцев.

Но вернемся к теме «подъем-упадок». Хотя, по всей вероятности, нелегко принять следующую тезис, но именно *победоносность* СССР, ярко выразившаяся во многих событиях и явлениях 1943–1961 годов, была основной причиной последующего «упадка».

Ибо, во-первых, в ходе побед, конечно же, имело место чреватое тяжкими последствиями *перенапряжение* сил. В связи с этим иные идеологи говорят теперь, например, о том, что нам в 1945 году следовало только изгнать врага из пределов страны и не брать на себя тяжелейшую задачу полного его разгрома; о том, что не надо было рваться первыми в космос и т. п. Но такого рода суждения вполне уместно сравнить с увещаниями, обращенными не к стране, а к какому-либо отдельному человеку, посвятившему жизнь труднейшему и опасному делу: вот, мол, глупец, занялся бы чем-либо не требующим сколько-нибудь значительных усилий и не связанным с риском, – и здоровье бы сохранил и прожил дольше...

Во-вторых, цепь грандиозных побед СССР внушила убежденность, что все, в общем и целом, идет совершенно правильно, и нет оснований проектировать и осуществлять сколько-нибудь широкие и глубокие преобразования бытия и сознания страны, и в 1964 году началась так называемая эпоха застоя. Правда, те или иные преобразования время от времени планировались, но, по сути дела, не реализовывались. И поскольку верховная власть, как и ранее, держала в своих руках экономику, политику и идеологию, определенное ее *бездействие* (кроме усилий, направленных на сохранение статус-кво) неизбежно вело к вырождению, которое выразилось во множестве различных тенденций и явлений того периода, но достаточно, полагаю, сказать об одном – о «культе» Брежнева.

* * *

Речь идет отнюдь не о характере и роли самого этого человека, а о том, что в его лице так или иначе выражалось в глазах населения «лицо» тогдашнего СССР. Леонид Ильич явно не был склонен к каким-либо существенным инициативам, и естественно сделать вывод, что как раз поэтому его избрали в 1964 году первым секретарем ЦК. В 1966-м Брежневу присвоили уже и «сталинский» титул Генсека и постепенно присудили все имевшиеся высшие награды и звания, а также сочинили ему пространные мемуары, которые предписывалось изучать начиная со школьных лет и т. п.

С середины 1970-х годов тяжелобольной Генсек (он скончался в конце 1982-го) был фактически недееспособен и к тому же зачитывал подготовленные для него доклады с великим трудом и косноязычно. Население всех слоев сверху донизу, не приглушая голоса, рас-

сказывало бесчисленные унижительные анекдоты о Генсеке и с хохотом слушало культивируемое многими подражание его косноязычной речи. Помню, как на рубеже 1970-1980-х годов в многолюдной компании, где было несколько детей и подростков, один – имевший, кстати, немаловажное официальное положение – деятель занялся (и, надо сказать, довольно удачно) таким передразниванием, и я (хотя, понятно, ни в коей мере не был поклонником Брежнева) предложил прекратить это занятие ради юных слушателей, которые в результате скорее всего потеряют веру во власть и, в конечном счете, в свою страну...

Повторю еще раз, что дело вовсе не в самом Леониде Ильиче, а в вырождении власти в целом, которая ведь создавала совершенно фарсовый брежневский культ, бывший, конечно, только одним из проявлений общего положения вещей, но все же весьма и весьма существенным. Трудно усомниться в том, что Брежнева – особенно после резкого ослабления его здоровья – можно было сместить с его верховного поста, как в свое время сместили Хрущева. Но власть, полагавшую, что никакие значительные преобразования не нужны, очевидно, вполне устраивал недееспособный Генсек.

В результате происходил нарастающий подрыв веры во власть, то есть, в конечном счете, в наличную страну, который и явился, как представляется, истинной причиной крушения СССР. Масса идеологов, о чем уже говорилось, усматривает причину в нежизнеспособности самого политико-экономического строя, сложившегося в СССР, – строя, который, мол, в принципе невозможно было реформировать, только уничтожить. Между тем с 1917 года совершались существеннейшие изменения в экономике и политике; напомним, что сменили друг друга военный коммунизм, НЭП, коллективизация, решительный предвоенный поворот от «революционности» к государственности и, наконец, активнейшее хрущевское «реформаторство», которое во многом являло собой своего рода реанимацию «революционности» (см. об этом подробно в моем, изданном в 1999 году, двухтомном сочинении «Россия. Век XX»).

При этом в высшей степени важно осознать, что и эта хрущевская «революционность» (официально осужденная в 1964 году как «волюнтаризм») была основана на убежденности в исключительной, как бы даже безграничной мощи страны, которую она с очевидностью продемонстрировала в период от Сталинградской победы до опередившего США прорыва в космос. Вот весьма многозначительное сопоставление, обнаруживающее возрастание этой убежденности: когда в 1948 году Югославия выходила из-под эгиды СССР, какое-либо военное вмешательство даже и не планировалось, но когда восемь лет спустя нечто аналогичное происходило в Венгрии, была предпринята полномасштабная военная операция (мы, мол, теперь все можем и никого не опасаемся). И другое сопоставление этого же характера: в 1950 году войска США вторглись в Северную Корею, но СССР, как известно, не только не ответил тем же, но, напротив, свел свое военное присутствие в Корее до минимума. Между тем в 1962 году, когда Кубе угрожало нападение США, туда – через океан! – были отправлены значительные военные силы с ядерным оружием!

Своего рода «самоупоение» выразилось и в хрущевской программе «догнать и перегнать Америку» в сфере сельского хозяйства, и в ширившемся чрезвычайно дорогостоящем соревновании с той же Америкой в деле овладения космосом, и в стремлении полновластно «руководить» Китаем и т. п. Между тем в 1963 году СССР вынужден был (впервые в истории!) закупить за рубежом миллионы тонн зерна, состязание в космосе уже в 1960-х годах выиграла США, отношения с Китаем стали к 1963 году открыто враждебными...

И 14 октября 1964 года состоялось «свержение» Хрущева за его «волюнтаризм». И тогда, и до сего времени все «просчеты» безосновательно приписывают его *личной* воле. Это восходящее к сталинским временам понимание хода истории (правда, сначала «личности» приписывают все победы, а затем все беды, но это не меняет существа дела: перед нами тот же самый «культ», пусть и «наизнанку»...). На деле же – несмотря на те или иные критиче-

ские выступления против Хрущева – его «революционный энтузиазм» до поры до времени разделяла власть в целом и, в определенной мере, сама страна (см. об этом в моем уже упомянутом сочинении «Россия. Век XX»).

Множество авторов, рассуждая о том же хрущевском времени, обожают предлагать «альтернативы»: вот, мол, если бы Хрущев и другие повели дело не так, а этак, все было бы превосходно. Однако это не более чем бессодержательная риторика. При том положении, которое занимал в мире СССР к началу 1960-х годов, дело явно не могло идти иначе. В частности, известный выкрик, обращенный к Западу, – «Мы вас закопаем!» – был по своей дикой *форме* проявлением личности Хрущева, но суть его наверняка поддерживали тогда самые широкие слои населения СССР...

В устранении Хрущева и избрании на его пост «безынициативного» Брежнева в конечном счете выразилось осознание (пусть даже и не очень уж ясное) людьми власти опасности решительных радикальных действий и жестов – несмотря на все величие победоносного СССР. И есть все основания утверждать: подъем тогда уже сменялся упадком, что ясно выразилось, например, и в закупке зерна за рубежом, и в потере такого союзника, как Китай...

Новая – «застойная» – власть явно поставила перед собой задачу сохранять статус-кво, избегая существенных сдвигов в каком-либо направлении и так или иначе пресекая или хотя бы оставляя без внимания стремление тех или иных людей настаивать на основательных преобразованиях. И естественно видеть в этом «охранном» курсе реализацию по-своему разумной точки зрения: ведь, несмотря на начавшийся «упадок», страна еще являлась несомненной великой державой, и было не только рискованно, но и вроде бы незачем колебать ее устои, особенно если учитывать итоги «волюнтаризма» хрущевского времени. Но «охранный» курс означал и *удовлетворенность* тем, что есть, которая оборачивалась бездействием, а эта «тенденция» вместе с предшествующим перенапряжением сил победной страны – характернейшие проявления «упадка».

И в сам период «застоя», и в наши дни многие утверждали и утверждают, что власть тогда стремилась восстановить «сталинские» порядки. Но это едва ли хоть сколько-нибудь основательное мнение. Можно допустить, что отдельные люди власти пытались предпринимать нечто подобное – например, избранный через месяц после «свержения» Хрущева, 10 ноября 1964 года, членом Президиума ЦК А. Н. Шелепин, бывший в 1958–1961 годах председателем КГБ и получивший позднее прозвание «железный Шурик». Однако вполне закономерно, что менее чем через три года, 26 октября 1967-го, он был фактически устранен из верховной власти: его сместили с поста председателя Комитета партийно-государственного контроля и поручили ведать профсоюзами...

Несостоятельность версии о якобы возможном возврате к «сталинизму» особенно ясна из того, что время Сталина – это ведь время кардинальных *сдвигов* и решительных *действий*, а в «эпоху застоя» таких сдвигов и действий неукоснительно старались избегать.

Более того: если бы предполагаемый «наследник» Сталина Шелепин или кто-нибудь подобный ему даже сумел бы взять в руки полноту власти, никакой «неосталинской» эпохи все равно не получилось бы, ибо и историческая ситуация, и сама страна были уже совершенно иными, чем в 1930-м – начале 1950-х годов. Так, например, целенаправленно создаваемый культ Генсека Брежнева в известной степени соответствовал модели сталинского, но в результате получился, как уже отмечено, не героический (и, конечно, трагический), а чисто фарсовый культ...

* * *

В глубоком упадке страны после ее высокого подъема нет – о чем уже шла речь – ничего необычного. То же самое происходило в обретающих на какое-то время первостепенную роль

странах Запада, и упадок *коренился* именно в предшествующем подъеме; это, в сущности, своего рода всеобщая закономерность.

Собственно «российским» было то *стремительное* крушение, к которому в конце концов привел упадок страны, и которое, как представляется, обусловлено прежде всего отсутствием общества: в СССР имелись только власть и население. Итоги мартовского референдума 1991 года ясно свидетельствовали, что преобладающее большинство людей, исходя из тех или иных своих интересов, было против распада страны, но когда он состоялся, никакого *сопротивление* не имело места.

Указание на этот факт – впрочем, как и все вышеизложенное – существенно для понимания не только прошедшего, но и настоящего, и грядущего, и в том числе плодов деятельности нынешней власти. Чрезвычайно показательно, что ее идеологи настойчиво твердили о необходимости создания в стране «*среднего класса*», который является ядром и основой западного *общества*, так или иначе примиряющим и объединяющим его «низы» и «верхи» (закономерно, что для обозначения этого неведомого России феномена пришлось перевести с английского термин «middle class»). Таким образом, идеологи власти отдавали себе отчет в том, что в нашей стране нет (и не было) «общества» в западном смысле, но ставили задачу «создать» его ядро, а затем, очевидно, и его в целом.

Однако для достижения этой цели необходимо кардинально изменить самих людей, населяющих страну, сам народ. Выразительно сделанное в 1998 году признание одного из главных наставников российских «реформаторов» американца Джеффри Сакса: «Мы положили больного (то есть Россию. – *В. К.*) на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия». (Цит. по газ. «Деловой вторник» от 10 ноября 1998 г.) Возможно, Сакс имел в виду, что у пациента не оказалось абсолютно необходимого, с точки зрения иностранного «хирурга», органа – общества. Так или иначе американец пришел к выводу, что Россия – принципиально иной феномен, хотя идеологи нынешней российской власти постоянно объявляют этого рода выводы тенденциозными выдумками «русофилов» и «почвенников».

Прочитую еще раз слова Петра Чаадаева. Мыслитель критически и даже резко критически судил о своей стране, но в то же время с полной убежденностью писал в 1835 году: «...мы не Запад... И не говорите, что мы молоды, что мы отстаем от других народов, что мы нагоним их. Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век... у нас другое начало цивилизации. Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое... Тогда мы пойдем вперед».

К прискорбию, в наше время многие люди рассуждают примерно так: раз наш путь привел страну к крушению, следует двигаться по пути «благополучных» стран Запада. Однако в свете тысячелетней отечественной истории ясно, что это иллюзорный, бесперспективный проект...

Необходимость связи времен

В предыдущей главе речь шла о наивысшем подъеме, о «победоносном» периоде в истории СССР, продолжавшемся в общем от Сталинградской битвы до космического полета Юрия Гагарина. Этот период, как я буду стремиться показать, не стал бы возможным без кардинального *поворота* в политике и идеологии, который начался с середины 1930-х годов.

Российская революция (как, впрочем, *любая* революция) была тотальным отрицанием *предшествующего* бытия и сознания страны; все прошлое России – за исключением тех явлений и тенденций, которые считались так или иначе подготовлявшими революцию, – объявили «проклятым прошлым».

Даже в 1936 году в статье, опубликованной (21 января) в редактируемой им газете «Известия» – второй по значению после «Правды», – Н. И. Бухарин утверждал, что русские были до 1917 года «нацией Обломовых», а само слово «русский» – синонимом слова «жандарм». Но Бухарин или не замечал, или не хотел замечать, что в стране уже начался коренной поворот. И 10 февраля «Правда» опубликовала резкую отповедь, в которой, в частности, утверждалось: «Партия всегда боролась против „Иванов, не помнящих родства“, пытающихся окрасить все историческое прошлое нашей страны в сплошной черный цвет». 14 февраля Бухарин на страницах «Известий» принес покаяние.

Но нельзя не признать, что утверждение «партия *всегда* боролась...» явно не соответствовало действительности; этого рода борьба началась не ранее 1934 года, когда появились в известной мере пересматривавшие прежнюю идеологическую линию «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» за подписями Сталина, Жданова и Кирова; к тому же опубликованы эти «Замечания» были позже, 27 января 1936 года, – через несколько дней после «антирусской» статьи Бухарина.

А скажем, в 1928 году Сталин в связи с 10-летием Красной армии произнес директивную речь, безоговорочно утверждавшую, что эта новая армия не имеет ничего общего со «старой», которая, в частности, «воспитывалась в духе великодержавничества», между тем как Красная армия «воспитывается... в духе интернационализма... поэтому она... является армией рабочих всех стран» (т. II, с. 24, 25).

Последнее суждение было явно безосновательным. Красная армия победила в гражданской – *классовой* – войне на территории России, однако когда летом 1920 года начались военные действия на территории другой страны (кстати, весьма небольшой в сравнении с РСФСР) – восстановленной в 1918-м Польши, – Красная армия потерпела столь сокрушительное поражение, что пришлось отдать Польше (до 1939 года) обширные западные территории Украины и Белоруссии. Ибо против Красной армии воевал польский народ в целом, включая *рабочих*.

А через тринадцать лет после цитированной сталинской речи в страну вторглась армия, состоявшая в значительной мере именно из *рабочих* Германии, Австрии, Венгрии, Финляндии и других стран, – армия, которую обеспечивали всем необходимым *рабочие* почти всей вошедшей в Третий рейх Европы. Но к этому времени армия СССР была уже совсем не той, о которой Сталин говорил в 1928 году; она представляла как наследница дореволюционной армии России.

В период с 1935 по 1941 год восстановились российские офицерские и генеральские звания, было утверждено воинское величие Александра Невского, Петра Первого, Суворова, Кутузова и т. п. В 1942 году, незадолго до начала нашего наступления под Сталинградом, подвергся окончательному упразднению институт «военных комиссаров», являвший собой основу Красной армии, а в январе 1943-го были восстановлены долго считавшиеся чем-то заведомо «враждебным» *погоны*...

Могут возразить, что речь идет, в частности, о «формальных» изменениях, но, конечно же, они не могли осуществиться без изменения самого «содержания»: армия из некоей «интернациональной» превращалась в армию *великой державы* (хотя не столь давно, в 1928-м, Сталин клеймил «старую» армию именно за ее «великодержавничество»). И нет никаких оснований сомневаться в том, что Победа 1945 года была бы невозможной без тех коренных и многосторонних изменений, которые осуществлялись в армии страны с середины 1930-х годов.

* * *

Обратимся теперь к другой проблеме – научно-техническому развитию страны. 30 ноября 1932 года были опубликованы следующие суждения Сталина о России: «...наша страна была исключительно отсталой... Мы следим за САСШ (США. – В. К.), так как эта страна стоит высоко в научном и техническом отношении. Мы бы хотели, чтобы люди Америки были нашими учителями в области науки и техники, а мы их учениками» (т. 13, с. 149).

Перенесемся сразу же на тринадцать с лишним лет вперед. 9 февраля 1946 года Сталин заявил: «...особое внимание будет обращено... на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы. Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны» (т. 16, с. 15).

«Прогноз» оказался до удивления верным: всего восемь лет спустя, в 1954 году, в СССР начала работать *первая в мировой истории* атомная электростанция и был создан *первый* реактивный пассажирский лайнер «Ту-104», в 1957-м вышел на орбиту *первый* искусственный спутник Земли, в 1961-м состоялся *первый* полет человека в космос.

Есть все основания полагать, что цитируемые суждения Сталина (из его речи 9 февраля 1946 года) были порождены письмами (от 25 ноября 1945-го и 2 января 1946-го) одного из виднейших тогдашних ученых П. Л. Капицы (см. его изданную в 1989 году книгу «Письма о науке»). Тот факт, что эти письма произвели громадное впечатление на Сталина, вполне очевиден: Капица, начиная с 1937 года, отправил вождю более десятка писем, но только после двух последних впервые получил ответное послание, в котором было сказано: «В письмах много поучительного» (понятно, что в устах «Великого *Учителя*» эти слова имели чрезвычайно весомое значение).

Петр Леонидович в двух своих письмах говорил прежде всего о вреднейшей недооценке *отечественной* науки и техники, отмечая, в частности, что после 1934 года в Академии наук было создано всего лишь два научно-исследовательских института (ср. цитату из сталинской речи, произнесенной 9 февраля 1946 года, – в ней есть несомненный «отклик» на это место письма). Притом ученый не «побоялся» написать о причинах сей недооценки: «Это у нас старая история, пережитки *революции*» (выделено мною. – В. К.), хотя счел нужным тут же констатировать: «Война в значительной мере сгладила эту ненормальность». (Целесообразно в связи с этим сообщить, что Капица писал Сталину еще в декабре 1936-го – январе 1937 года: «Все развитие нашей промышленности базируется на перенятии чужого опыта... в отношении прогресса науки и техники мы полная колония Запада», – писал, но не *отправил* это письмо, так как, по-видимому, не ожидал тогда, что будет понят.)

Вместе с письмом от 2 января 1946 года Капица прислал Сталину рукопись книги историка техники Л. И. Гумилевского «Русские инженеры», которая была создана по настоянию Капицы, а по распоряжению Сталина немедля издана. «Из книги, – подводил итоги в письме Сталину Капица, – ясно: 1. Большое число крупнейших инженерных начинаний зарождалось у нас. 2. Мы сами почти не умели их развивать... 3. Часто причина неиспользования

новаторства в том, что обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное... сейчас нам надо усиленным образом поднимать нашу собственную технику... Успешно мы можем делать это только... когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других, и на него можно смело положиться». Нельзя не напомнить, что Капица с 1921 по 1934 год жил и работал за рубежом и, следовательно, сопоставлял научно-технические «потенциалы» Запада и России с полным знанием дела.

* * *

Обратимся в связи с этим к истории *космонавтики*³⁰. Ее общепризнанным во всем мире основоположником был К. Э. Циолковский, родившийся в Рязанской губернии в 1857 году и уже в 1880-х начавший в городке Боровске Калужской губернии разработку космической программы, хотя первая его статья, посвященная этой теме, была опубликована только в 1903 году. С 1908 года начал свою деятельность последователь Циолковского Ф. А. Цандер (1887–1933), а в 1931 году его сподвижником стал С. П. Королев, впоследствии реализовавший долго казавшиеся фантазией проекты. И в 1933 году взлетел – пусть пока еще обладающий совсем незначительной мощностью – прообраз той ракеты, которая через 24 года, в 1957-м, вознесет в космос первый спутник, что поистине потрясет весь мир (русское слово «спутник» вошло тогда во все основные языки).

Вполне вероятно, что это событие могло бы состояться раньше, но космическая программа, зародившаяся именно в *России* и лишь позднее получившая развитие на Западе, не обрела достойной поддержки у властей. Напоминаю, что согласно «верховному указанию» отечественная наука и техника призваны «учиться» у американцев, и только возражение П. Л. Капицы («мы недооцениваем свое и переоцениваем иностранное») изменило положение дела.

Американский историк Д. Холловэй, тщательно изучивший научно-техническое развитие СССР, привел ряд фактов из истории нашей ракетной техники, которые, по его словам, «подтверждают мнение Капицы о том, что недоверие к советским ученым и инженерам было главной причиной того, что вклад Советского Союза в развитие принципиально новых технологий был столь незначительным... Идеи советских ученых и инженеров не получали должной поддержки до тех пор, пока они не подтверждались западным опытом»³¹ (имеется в виду период до 1946 года). Приступив в начале 1930-х годов к реализации космической программы, С. П. Королев тем самым опережал Запад, что представлялось властям невероятным.

7 июня 1938 года, в период своего рода неуправляемой цепной реакции репрессий, Сергей Павлович был арестован³². В ходе следствия ему было объявлено: «Нашей стране вся ваша пиротехника и фейерверки не нужны и даже опасны». Весной 1939 года Сергея Павловича отправили на Колыму, где он будет возить тачки с золотиносным песком в лагере Мальдяк...

³⁰ Приношу благодарность начальнику сектора Летно-исследовательского института имени М. М. Громова Александру Александровичу Сахарову, который консультировал меня при подготовке нижеследующего раздела этого сочинения.

³¹ Холловэй Дэвид. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия. 1939–1956. Новосибирск, 1997. С. 200–201.

³² История ареста и осуждения С. П. Королева ныне подробно выяснена. С 1934 года он работал заведующим отделом Реактивного научно-исследовательского института. Директором этого НИИ был Иван Клейменов, который ранее работал в Берлинском торгпредстве СССР. В 1937 году его сослуживец по торгпредству Мордух Рубинчик дал показания о вредительской деятельности Клейменова, и 1 ноября 1937-го тот был арестован, а 10 января 1938-го приговорен к расстрелу. Следователь НКВД Соломон Луховицкий изуверскими пытками заставил Клейменова дать показания о вредительской деятельности ряда сотрудников руководимого им НИИ, и в том числе Королева. И хотя на суде Клейменов категорически отказался от этих показаний, Королев был арестован (см. об этом: «Военно-исторический журнал», 1989, № 10. С. 82–83 и кн.: Альбац Е. Мина замедленного действия (Политический портрет КГБ). М., 1992. С. 72–73).

Однако уже 13 июня 1939 года, когда он еще не доехал до лагеря, «дело» пересматривается; в ноябре Королева отправляют обратно в Москву, и вскоре он начинает работать в подведомственном НКВД конструкторском бюро, – правда, пока еще над проблемами реактивной авиации, а не космонавтики (по собственным словам Королева, он только с 1943 года «снова смог немного работать» в своей истинной сфере).

Из опубликованных до сего дня сведений не вполне ясно, почему в 1939 году произошел неожиданный поворот в судьбе С. П. Королева, но все же есть достаточные основания полагать, что это было вызвано имевшими тогда место первыми успехами в создании реактивных двигателей *на Западе*, в результате чего власть осознала значение «фейерверков» Королева.

В 1944-м Сергея Павловича освобождают, снимают судимость и награждают орденом, но лишь 8 августа 1946 года – то есть уже *после* цитированных выше писем Капицы Сталину – С. П. Королев был назначен Главным конструктором в научно-исследовательском институте, где смог непосредственно заняться проблемами космонавтики. Он приступил к своей работе в этом институте в начале 1947 года, а уже в 1957-м мощная ракета вознесла в космос первый спутник.

Эта победа не могла бы свершиться, если бы власть не приняла того решения о всемерной поддержке *отечественной* науки и техники, которое инициировал в своих цитированных «поучительных» письмах Сталину в конце 1945-го – начале 1946 года Капица.

Сошлюсь в связи с этим на весьма показательный факт. В конце 1944 года на нашей дальневосточной территории совершили вынужденную посадку мощные (прозванные «летающими крепостями») бомбардировщики США «Б-29». И 6 июня 1945 года Сталин распорядился создать бомбардировщик, который должен был представлять собой точную копию американского. Это было поручено крупнейшему авиаконструктору А. Н. Туполеву, который пытался возражать Сталину, утверждая, что «мы построим самолет лучше». Но Сталин, увы, не принял возражений. Насколько был прав Туполев, ясно из того, что в 1954 году он создал *первый в мире* – то есть вполне «оригинальный» – пассажирский лайнер «Ту-104»; чтобы это произошло, отношение власти к отечественной науке и технике должно было коренным образом измениться.

* * *

Словом, как победа в войне, так и первостепенные достижения в научно-техническом развитии были обусловлены преодолением «отрицания» России с ее «проклятым прошлым», – преодолением, начавшимся в середине 1930-х годов и продолженным в послевоенное время.

Стоит еще сказать о том, что в начале 1990-х годов, в разгар всяческого принижения СССР, усиленно пропагандировалась версия, согласно которой атомная бомба была создана у нас в 1949 году только благодаря тому, что разведка «выкрала» в США ее «секрет». Мнение о решающей роли разведанных оспаривалось, однако истинная суть дела вовсе не в этом.

Ведь если даже и согласиться с тем, что вклад разведки имел огромное значение, необходимо понять и другую, гораздо более существенную сторону проблемы: без того мощного и широкого развития физики и химии в России, начало которому положил двумя столетиями ранее Ломоносов, любые разведанные были бы совершенно бесполезны!

Нет сомнений, например, в том, что без наличия к 1940-м годам когорты выдающихся ученых и технологов, часть из которых, кстати сказать, начала свой путь в науке еще до 1917 года³³, никакие добытые «секреты» ничего бы не дали.

³³ Например, С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семенов, Д. В. Скобельцын, И. Е. Тамм, В. Г. Хлопин.

Существенен и тот факт, что атомная бомба была создана в СССР четырьмя годами позднее, чем в США, а термоядерная – всего лишь девятью месяцами позднее. Нельзя не задуматься и над тем, что Великобритания (хотя ее ученые имели теснейшие связи с США) отстала от СССР в создании атомной бомбы на три года и термоядерной – на четыре, а Франция – соответственно на десять с лишним и на пятнадцать лет. Стоит напомнить и о датах пуска первых АЭС: в СССР – 1954-й, в Великобритании – 1956-й, в США – 1957 год; в 1959 году в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол. Не приходится уже говорить об отставании других стран мира. Подчеркну еще раз: тот факт, что в СССР были научно-технические предпосылки для создания за короткий срок атомной бомбы, имел гораздо более существенное значение, чем «секреты».

Словом, только отказавшись от «отрицания» России, страна смогла добиться великих побед и в мировой войне, и в мировом научно-техническом «соревновании». И то и другое – ярчайшие проявления *целостного* развития страны. Так, Сталин в марте 1939 года – явно неожиданно для многих «ортодоксальных» большевиков – заявил в своем докладе на XVIII съезде партии, что у государства СССР должны «сохраниться некоторые функции старого (то есть дореволюционного. – В. К.) государства». Сказано это было в достаточно «осторожной» форме, но по существу тем самым кардинально ревизовалась послереволюционная политическая теория и практика.

Весьма показательна «ревизия» отношения к Церкви. Господствует представление, что она произошла во время Отечественной войны ради мобилизации священников и их паствы на борьбу с врагом. Но недавно был опубликован подписанный Сталиным текст постановления Политбюро от 11 ноября 1939 года, в котором, в частности, содержится следующий весьма выразительный пункт: «Указание товарища Ульянова (Ленина) от 21 мая 1919 года... „О борьбе с попами и религией“... отменить» (см.: «Наш современник», 1999, № 12, с. 223).

«Поворот», начавшийся в середине 1930-х годов, был всецело закономерным явлением: после любой революции через некоторое время совершается *реставрация*, как бы восстановление утраченного прошлого, – правда, именно «как бы», поскольку реально восстановить прошлое невозможно, и дело идет, выражаясь точно, о восстановлении не прошлого, а *связи* с ним, о *продолжении* того ценного, что развивалось в прошлом.

И нельзя не видеть, что именно стремление восстановить связь с прошлым характерно для 1991-го и последующих годов: оно вполне наглядно выразилось в восстановлении дореволюционного флага, герба и т. д., даже – ни много ни мало – монументального храма Христа Спасителя в центре Москвы.

Как ни парадоксально это прозвучит, но нынешняя власть, идеологи которой более всего проклинаят именно период нашей истории, начавшийся в середине 1930-х годов, вместе с тем в сущности стремится продолжить, довести до конца начатый тогда «реставрационный» процесс!

Однако теперешняя «реставрация» имеет, строго говоря, чисто формальный характер, ибо для нее нет *реальной* основы и почвы. Достаточно сказать, что если в середине 1930-х годов значительно *более половины* взрослого населения СССР составляли люди, родившиеся до 1900 года³⁴, то есть ставшие взрослыми еще в Российской империи, то к 1991 году таких людей, за исключением крайне немногочисленных долгожителей, не было. Общепринято, что смена *поколений* происходит через тридцать лет, и, следовательно, к нашему времени сменились три «*постреволюционных*» поколения (первое из них родилось до 1917 года, но

³⁴ Напомню, что, скажем, почти все главные полководцы Отечественной войны родились не позднее 1898 года и начали свой боевой путь в 1914–1916 годах в старой, «царской» армии (от маршала Б. М. Шапошникова, родившегося в 1882 году, до маршала Р. Я. Малиновского, родившегося в 1898-м).

достигло взрослости уже после него). И реально восстановить связь с *прадедовским* бытием и сознанием немислимо.

Нередко утверждают, что такую связь способна осуществить наша Церковь, которая, несмотря на все гонения и запреты, и в советское время все же *жила*. Но это едва ли основательное предположение, ибо для исполнения такой задачи Церковь, в сущности, должна была бы отказаться от своей истинной миссии. Конечно, за более чем тысячелетнюю историю нашей Церкви те или иные ее деятели неоднократно «вмешивались» в «мирские» дела, но это были проявления именно их воли, но не воли Церкви как таковой. Ибо Церковь может и должна благоустраивать *отношения между людьми*, воплощая в себе *связь людей с Богом*, а не воздействуя непосредственно на их мирские отношения.

Доказательство правоты такого решения вопроса – тот факт, что на протяжении тысячелетия отношения между людьми неоднократно претерпевали кардинальные изменения, но Церковь оставалась в своей основе неизменной, и, собственно говоря, именно поэтому в ней и усматривают силу, способную восстановить связь с дореволюционной Россией, – не задумываясь о том, что, занявшись этим делом, Церковь утратила бы свою истинную сущность...

Словом, нынешние идеологи (кстати сказать, самых различных направлений), усматривающие выход в «возврате» к тому бытию и сознанию страны, которые были реальностью восемьдесят с лишним лет назад, – чистейшие утописты. И особенно прискорбно, что эта утопическая программа побуждает, даже заставляет ее сторонников с особенной решительностью и последовательностью настаивать на *отрицании* бытия и сознания страны между 1917 и 1991 годами. Они, как ни удивительно, не осознают, что вполне уподобляются тем проклинаемым ими идеологам, которые после 1917 года отрицали предшествующую историю России!

Этих нынешних утопистов, собственно говоря, даже трудно понять. Их экстремизм или, если выразиться попросту, оголтелость объяснима только полным нежеланием считаться с реальностью. И они, увы, заглушают голоса тех своих вполне либеральных коллег, которые все же сохраняют разумность.

Так, например, ленинградский (теперь, понятно, петербургский) писатель Даниил Гранин вполне определенно высказался еще в 1994 году: «Изнитожается ленинградское во имя петербургского. Оборвалась цепь времени, и культура оказалась беззащитной. От нее ждут нового слова, но новое появляется не на кладбище, а вынашивается в утробе уходящего».

Критиковать прошлое естественно и необходимо. Но отказаться от советского наследия – *варварство* (выделено мною. – В. К.). Культура-нувориш становится беспризорной, утверждает себя террором...

История не терпит обрывов... Петербургу придется осваивать Ленинград, включать в себя, сохранять и защищать лучшее, что было в нем» (журн. «Российская провинция», 1994, № 5, с. 9).

* * *

Нетрудно предвидеть возражение: мне скажут, что после 1917-го страна переживает безмерно трагедийную эпоху. И конечно же, это безусловно верно по отношению к времени до начала 1950-х или даже начала 1960-х годов (вспомним о расстреле жителей Новочеркасска в 1962 г.).

Но, во-первых, «отрицание» неправомерно распространяют и на три десятилетия, предшествовавшие 1991 году, – десятилетия, в продолжение которых в стране было не больше или даже меньше трагических событий, чем, скажем, в тогдашней истории США, Франции, Великобритании и т. д. Да, в тот период разразилась наша война в Афганистане,

однако войны Франции и затем США в Индокитае, а также французская война в Алжире имели более кровопролитный характер. Кроме того, у нас не было целой цепи политических убийств (точнее, их у нас вообще не было в те десятилетия), как в США – в частности, убийств людей, отстаивавших права «нацменьшинств» – и гибели людей в конфликтах, подобных испанско-баскскому, англо-ольстерскому и т. п.; не приходится уже говорить о тогдашних губительных гражданских войнах во многих странах Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. И если подойти к делу беспристрастно, нельзя не признать, что в тридцатилетний период перед 1991 годом СССР являл собой *одну из самых «мирных»* стран. Между тем, повторю еще раз, многочисленные идеологи пытаются внушить людям, что все время с 1917 по 1991-й было беспрерывной трагедией.

Во-вторых, *трагедия* – если основываться на исканиях мировой философии и богословия – неизбежное, неотвратимое и в самой основе своей глубоко противоречивое, не подвластное прямолинейному пониманию и односторонней оценке явление человеческого бытия. В трактовке многих нынешних идеологов трагедийный период нашей истории имеет принижающее или даже позорящее нашу страну значение; некоторые из них, говоря, что в 1917 году Россия «взошла на Голгофу», странным образом не вдумываются в истинный смысл этого речения, подразумевающего не только унижение и смерть, но и величие и воскресение.

Судьба страны воплощается в судьбах отдельных людей. И напомним о судьбах К. К. Рокоссовского и С. П. Королева. Оба испытали унижительную и в сущности сдвигающую человека на самую грань смерти долю репрессированных. Но Константин Константинович стал затем одним из двух главных и наиболее прославленных полководцев Великой Отечественной (именно он командовал Парадом Победы), а Сергей Павлович – Главным конструктором космической программы, обретшим наивысшую всемирную славу. И, как представляется, в наше время еще крайне трудно или даже вообще невозможно четко сформулировать «приговор» об этих человеческих судьбах, то есть прийти к их «точным», непротиворечивым пониманию и оценке. Но это относится и к судьбе нашего народа в целом...

* * *

Как уже сказано, восстановить «связь времен», обращаясь к отделенной от нас жизнью трех человеческих поколений Российской империи, невозможно; перед нами в полном смысле слова утопическая программа, которая и возникла-то главным образом в силу тотального «отрицания» периода 1917–1991 годов. Повторю еще раз, что идеологи, которые призывали и призывают «вернуться» в дореволюционную Россию, тем самым обнаруживают свое понимание необходимости «связи времен», немислимости заново начинать бытие страны с некоего «нуля», не опираясь на фундамент ее истории. Это, о чем уже не раз говорилось, поняла в свое время, в середине 1930-х годов, и большевистская власть, несмотря на свое предшествующее безоговорочное отрицание дореволюционной России, которое длилось почти два десятилетия.

Разумеется, и «западнические» идеологи уже почти десять лет «отрицают» все совершившееся в стране до 1991 года, но есть основания полагать, что этому приходит конец. Ибо стремление этих идеологов исходить не из фундамента, или, вернее, почвы предыдущей истории страны, а конструировать новый фундамент по западным образцам (то есть они, в сущности, пытаются опереться на историю других стран!) все более ясно обнаруживает свою полнейшую бесперспективность.

Часть вторая

Тысячелетний путь русской литературы в свете истории

Я говорю о «*тысячелетнем* пути», а между тем сегодня имеются люди, которые полагают, что история Руси-России началась не на рубеже VIII–IX веков, а всего шестьсот лет назад – в XIV веке. Поэтому считаю целесообразным начать с вводных замечаний по этому поводу.

О так называемой «новой хронологии»

В последние годы немалый переполох в среде любителей чтения породили сочинения нескольких математиков (А. Т. Фоменко, Г. В. Носовского и других), предпринявших радикальнейшую «перестройку» в представлениях об истории: они утверждают, что реальная историческая жизнь человечества началась не более 1200 лет назад, то есть в отрезок времени, который принято считать IX веком нашей эры. Что же касается Руси, она, по утверждению «неохронологистов», возникла лишь в XIV столетии (если опять-таки воспользоваться «привычным» обозначением периода времени).

Основная идея «новой хронологии» не столь уж нова: ее выдвинул еще в начале нашего века известный «народоволец» Н. А. Морозов (1856–1946). Правда, у него были для этого существенные психологические предпосылки, так как за свою революционную деятельность он провел в одиночной тюремной камере двадцать четыре года (1881–1905), что, по всей вероятности, стимулировало развитие в нем специфического сознания, отрешенного от реальной конкретности истории и создававшего свою собственную ее картину.

Впрочем, главное, конечно, не в этом. К тому же сочинения Н. А. Морозова вскоре после их издания мизерным тиражом были почти забыты, о них помнил только узкий круг книголюбов. Между тем нынешние его последователи опубликовали уже более десятка книг, притом крупными по современным меркам тиражами, об их «перестройке» истории нередко говорится в печатных и электронных СМИ и т. п.

Решение высказаться о «новой хронологии» возникло у меня после того, как несколько интересующихся отечественной историей читателей в разговорах со мной и письмах поведали о своем увлечении этим «новаторством» и допытывались, как я к нему отношусь. Не буду рассуждать о «перестройке» всемирной истории в целом, поскольку мое внимание (как и внимание упомянутых читателей) сосредоточено на отечественной истории.

«Новая хронология» привлекает читателей, во-первых, «дерзостью» ее создателей, бестрепетно отвергающих «общепринятые» представления, и, во-вторых, определенной внутренней «непротиворечивостью», которую умеют соблюсти математически мыслящие «разработчики», – в то же время настойчиво указывая на явные *противоречия*, присущие «традиционной» хронологии.

Нет спора – таких противоречий немало. Но едва ли вообще возможно избежать противоречий в тех человеческих знаниях, «объектом» которых является бытие самого человечества. В такие знания неизбежно вторгаются разного рода субъективные моменты и факторы, хотя это не означает, что субъективизм вообще царит в «традиционной» хронологии, – как утверждают «неохронологисты», объявившие позднейшей (XVII–XVIII вв.) «выдумкой» полутысячелетний период истории Руси – с IX по XIII век...

Как уже сказано, нарисованная неохронологистами картина создает впечатление «непротиворечивости». Но – только при условии не заглядывать за ее рамки, не соотносить ее с «неудобными» конкретными сведениями об отечественной истории. В предисловии к своей книге «Новая хронология Руси» (М., 1997) Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко подчеркивают: «Эта книга написана так, что ее чтение не потребует от читателя никаких специальных знаний» (с. 3). Однако правильной была бы иная формулировка: книга не «не потребует», но как раз *потребует* «от читателя», чтобы он не имел «никаких специальных знаний», ибо в противном случае слишком многое окажется в ней заведомо и совершенно неубедительным.

В книге утверждается, что династия Романовых, придя в начале XVII века к власти, предприняла в своих интересах поистине грандиозную фальсификацию предшествующей истории, помимо прочего искусственно «удлинив» (или «удревнив») ее на пять столетий, и все дошедшие до нас письменные источники (прежде всего летописи), повествующие о ран-

ней (IX–XIII веков) истории Руси, – плоды этой фальсификации, а более или менее достоверные источники отражают события, произошедшие *не ранее* XIV века.

За пределами Руси дело обстоит, по мнению неохронологистов, иначе: там имеются намного более древние письменные источники, отразившие реальность начиная с IX–X веков. Однако как быть с тем, что в целом ряде *иноязычных* источников, относящихся к IX–XIII векам, содержатся всецело достоверные сведения о Руси, – хотя иностранным хронистам было, очевидно, незачем «удревнять» нашу историю (что, допустим, для чего-нибудь понадобилось русским летописцам)?

Сведения из иностранных источников, между прочим, как раз и являют собой те «специальные знания», которых книга неохронологистов «не потребует от читателя». И уже одни эти «знания» целиком и полностью разрушают формальную «непротиворечивость» смоделированной неохронологистами картины.

Судите сами: согласно этой картине, Русь тысячу лет назад вообще *не существовала* как историческая реальность, а между тем и на Востоке, и на Западе создавались тогда письменные источники, содержащие многочисленнейшие сведения о «несуществующей» Руси... Чтобы устранить это противоречие, неохронологистам остается разве что *укоротить* еще на пять столетий историю письменности в целом (или самой всемирной истории...).

Вот хотя бы один, но достаточно весомый «пример». Неохронологисты утверждают, что-де русский князь Святослав, действовавший с 945 по 971 год (когда Руси, мол, не было в помине), «создан» летописцами XVII–XVIII веков по образу и подобию жившего спустя четыреста с лишним лет князя Дмитрия Донского... Вместе с тем они не отрицают, что Византийская империя в X веке уже полноценно существовала. Между тем византиец Лев Диакон, живший во второй половине X века, посвятил деяниям русского князя Святослава («архонта росов Сфендослава») очень значительную часть своей «Истории», излагающей события с 959 по 976 год.

Если согласиться с утверждением, что Святослава «выдумали» не ранее XVII века, придется считать «Историю» Льва Диакона еще *более поздним* сочинением, которое, исходя из сфабрикованной по заказу Романовых летописи, кто-то зачем-то написал на языке, имитирующем греческий язык византийской эпохи...

Все это, конечно, попросту абсурдно, и нетрудно привести множество других подобных «примеров», демонстрирующих столь же абсурдные последствия применения «новой хронологии» к реальной истории...

Представляется целесообразным коснуться еще одной стороны дела. Письменные исторические источники – это, так сказать, хрупкая реальность, которая легко поддается всякого рода манипулированию. Но ведь имеются, например, и другие – и весьма существенные – исторические «источники», менее «податливые», чем рукописи, – *памятники зодчества*.

Если согласиться с неохронологистами, что история Руси начинается с XIV века, а высокий уровень «материальной культуры» был достигнут, надо думать, позднее – не ранее XV века, придется сделать вывод, что Софийский собор в Киеве, Дмитриевский собор во Владимире и храм Покрова в Москве (более известный по одному из своих приделов во имя Василия Блаженного) создавались не в период с 1017 до 1588 года – то есть на протяжении около шести веков, – а в рамках всего лишь одного-полутора столетий. Но совершенно неправдоподобно представление, согласно которому столь кардинально отличающиеся с точки зрения и строительной техники, и архитектурного образа творения были созданы в одну и ту же эпоху. Эти три памятника явно несут в себе «информацию» о весьма отдаленных друг от друга эпохах истории, а кроме того, их трудно было объявить фальсификациями (как поступают неохронологисты с неудобными им письменными источниками).

В одном из интервью А. Т. Фоменко отметил, что «серьезной научной дискуссии» с «традиционными» историками у него и его соратников «не получается», прозрачно намекая

на безнадежную «слабость» своих вероятных оппонентов, не решающихся на спор. Однако всерьез дискутировать с чреватými полной абсурдностью построениями, в сущности, невозможно – да и, пожалуй, не нужно. Вообще нет желания полемизировать с авторами, которые, в частности, отрицая с порога достоверность «Повести временных лет», тут же многократно и безоговорочно ссылаются (как на достовернейший источник) на сочиненную А. Д. Гордеевым – казачьим офицером, эмигрировавшим в 1920-х годах из России, – «Историю казаков», являющую собой своего рода поэму в прозе о бесконечно любезном ее творцу сословию (она была издана в 1968 году в Париже, а в 1992-м – в Москве).

И я написал этот текст не для полемики, а только для того, чтобы ответить на заданный мне читателями вопрос о том, как я отношусь к «новой хронологии Руси».

Поэзия как первооснова литературы

Достаточно широко распространено представление, согласно которому русское искусство слова в первые века своего развития было *прозаическим*, и лишь гораздо позднее возникла *поэзия*. Но дело обстоит не совсем так или даже совсем не так. И господствующее представление обусловлено, главным образом, тем, что древняя – или, вернее, средневековая – русская литература лишь в последнее время стала исследоваться как явление *искусства*, – в частности, с точки зрения не только ее содержания, ее смысла, но и с точки зрения художественной формы, поэтики, стиля.

Хотя это и может показаться странным, *художественная* проза вообще рождается много *позднее* поэзии, опираясь на ее творческий опыт. Это объясняется, между прочим, тем, что подлинно художественная проза обладает своим – разумеется, специфическим – *ритмом*. Он не столь очевиден, как в поэзии, но он представляет собой *более сложное* явление, необходимой предпосылкой которого было предшествующее развитие поэзии с ее (в конце концов *более простым*) ритмическим построением.

Собственно художественные произведения средневековой русской литературы принадлежат к поэзии, хотя их ритмика была совсем иной, чем в новой русской поэзии, сложившейся в послепетровскую эпоху. Воспринять поэтическую сущность древнерусских творений словесного искусства нам весьма нелегко потому, что мы можем только догадываться, как *произносились* эти творения. Но вот, например, виднейший русский художник слова рубежа XIV–XV веков Епифаний Премудрый (о нем еще будет речь) прямо говорит в одном из своих сочинений, что он пишет *стихами*.

В дальнейшем мы обратимся к ряду творений и поэзии, и прозы в их связи с отечественной историей, но начнем с существовавшей уже тысячелетие назад русской поэзии.

* * *

Великое русское поэтическое Слово родилось, в сущности, одновременно с самой Русью. Многие необоснованно полагают, что древнейшим творением нашей поэзии было созданное в конце XII столетия «Слово о полку Игореве», не задумываясь, между прочим, об изощренном совершенстве его стиля, которое никак не могло не опираться на долгий путь творческих исканий. И до сих пор, к сожалению, не имеет должной широкой известности «Слово о Законе и Благодати» – гениальное и подлинно поэтическое творение митрополита Киевского Илариона, созданное в 1038 году, то есть на *полтора столетия* ранее, чем «Слово о полку Игореве», и оно опять-таки явно не могло родиться на пустом месте!

Ныне уже ясно (я подробно рассматриваю этот вопрос в своей только что изданной книге «История Руси и русского Слова. Современный взгляд»), что наш богатырский эпос, многие наши былины, или, как они звались в народе, *ст'арины*, – эти мощные воплощения поэзии – возникли не позднее конца IX века, и, следовательно, «за спиной» творца «Слова о полку Игореве» была уже по меньшей мере *трехсотлетняя* история родной поэзии, о чем неоспоримо свидетельствует и сама по себе *искусность* его поэмы об Игоревом походе.

Итак, даже углубляясь в прошлое на тысячу и более лет, мы видим, что русская поэзия существовала и развивалась уже и тогда. Может, правда, возникнуть вопрос: а насколько широко было воздействие поэзии, являлась ли она в те далекие времена достоянием Руси в целом? Не вернее ли полагать, что она жила только в достаточно узком кругу особо «просвещенных» людей, – как бы сказали теперь, «знатоков», «любителей» поэзии?

Однако тщательное изучение судьбы тех же былин в различных краях России, где они продолжали исполняться вплоть до XX века, доказало, что эти великие поэтические творения

ния являлись поистине всеобщим достоянием; их слушали и высоко ценили самые что ни есть «простые» русские люди. Разумеется, былины хранили в памяти и умели исполнять лишь немногие – и чтимые народом – таланты. Но нет сомнения, что поэтические образы, созданные в былинах, запечатлевались в сознании множества людей и так или иначе воздействовали на формирование всего их духовного строя.

Здесь мы подходим к одной не очень ясной проблеме (хотя на деле она не столь уж сложна). Нередко можно прочесть или услышать горькие сетования по тому поводу, что вот, мол, когда-то народ постоянно соприкасался с великой древней поэзией, а в наше время поэтические творения регулярно читает не столь уж широкий круг «ценителей».

И это вроде бы действительно так: много ли найдется людей, которые читают и перечитывают творения даже и величайших русских поэтов Нового времени, начиная с Пушкина и Тютчева? Но если внимательно взглядеться и вдуматься в реальное положение дела, выяснится, что поэзия все же живет в душах людей, в душе целого народа, – живет независимо от того, сколько имеется усердных читателей поэтических книг.

Уже в позапрошлом, XIX веке, когда в России было не так много грамотных людей, поэзия Пушкина и Лермонтова, Кольцова и Некрасова и даже относимого тогдашними критиками к «чистому искусству» Афанасия Фета в той или иной мере стала общим достоянием – благодаря прежде всего песням и романсам на их стихи, звучавшим по всей России.

В наше же время в глубинах сознания любого человека – в том числе и человека, никогда не бравшего в руки какую-нибудь книгу стихотворений, – все равно содержатся многочисленные отпечатки, отзвуки родной поэзии, вошедшие в его память самыми разными путями – из уст учителя на давнем школьном уроке, из услышанной когда-то песни, даже из какой-нибудь цитаты в прочитанной газете и т. д. и т. п.

Истинная поэзия обладает своего рода магической силой. Вот выразительный пример. Едва ли я ошибусь, если скажу, что очень трудно найти человека, в памяти которого не было бы строки из «Евгения Онегина»:

Итак, она звалась Татьяной...

В свое время я задумался над тем, почему эта строка так западает в память? Она вроде бы очень «малосодержательна»; в частности, поэт ведь уже сообщил ранее, как зовут героиню его романа в стихах. И разгадка, по-видимому, в том, что, повторяя «лишний раз» ее имя, поэт имел цель выразить то особенное обаяние, то очарование, которое присуще и героине, и самому ее имени. В строке воплощена лишенная всякой нарочитости, даже вообще *незаметная* звуковая гармония. «Итак, она...» – в звучании этого начала строки словно бы нащупывается, предвосхищается имя – Татьяна, а затем следует «звалась» – слово, которое как бы утверждает единство героини и ее имени (не «назвали», или хотя бы «звали», а «звалась» – изначально, от «природы»). И не несущая в себе «информации» как таковой строка глубоко содержательна в поэтическом смысле, насыщена душевной волей поэта. В примечаниях к своему роману Пушкин сетует, что в среде «просвещенных» людей его времени не «употребляются» такие «сладкозвучнейшие греческие имена», как Татьяна (они, по его словам, «употребляются у нас только между простолюдинами»), а в самом романе сказано:

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.

Да, «освятим» именем «сладкозвучнейшим» – и это «содержание» воплощено (подчеркну: *воплощено*, а не «сообщено») во вживающейся навсегда в нашу память строке «Итак,

она...». И после появления «Евгения Онегина» имя его героини стало одним из любимейших имен в России в целом.

Конечно, это только один, и даже не самый весомый пример завораживающей силы поэзии. Каждый, кто внимательно взглянет в свою память, обнаружит в ней неожиданное, способное удивить, поразить множество поэтических строк, под которыми так или иначе таится и память – пусть не очень ясная – о произведении, из коего они «извлечены» (о том же «Евгении Онегине»).

И я готов пространно доказывать, что такие всем известные поэтические строки очень много значат в нашем сознании, в нашей духовной жизни: они представляют собой своего рода «опоры», «скрепы» нашего мировосприятия, нашего отношения к природе и обществу, к любви и дружбе, к добру и злу и т. д. Именно такова роль живущих в душе каждого из нас многочисленных или даже бесчисленных «зерен» поэзии – «Я помню чудное мгновение...», «Люблю грозу в начале мая...», «Выхожу один я на дорогу...», «Ты жива еще, моя старушка...», «В горнице моей светло», – впрочем, подобный перечень занял бы десятки или даже сотни страниц.

И – повторю еще раз – это богатство живет и в душах тех, кто вовсе не являются увлеченными «читателями поэзии» и даже вообще попросту откладывают в сторону книги, на страницах которых – «столбики» стихотворных строк.

Вместе с тем нельзя не сказать, что люди, которые только «пассивно» воспринимают как бы растворенную в самом воздухе России поэтическую стихию, конечно, обедняют себя, свою духовную и душевную жизнь. Тот факт, что отечественная поэзия все равно – вроде бы даже против его желания – проникает в душу любого человека, свидетельствует, по сути дела, о *необходимости* поэзии. У Льва Толстого как-то вырвалось признание: «Без Тютчева нельзя жить...». И Тютчев здесь скорее символ поэзии вообще (его творчество вполне достойно быть этим символом), чем какое-то особо выделяемое ее явление. «Нельзя жить» и без Пушкина, и без Есенина.

* * *

Нет сомнения, что русская поэзия – как и поэзия любого народа – уходит корнями в народное творчество, притом в его древнейшую, как говорится первобытную, стадию. Но столь же несомненно, что дело идет не о лирической *поэзии* в собственном смысле слова – как самостоятельном искусстве. В древнем народном творчестве стихия слова выступала в нераздельном единстве с музыкой, танцем, обрядовым действием или даже человеческой деятельностью вообще (трудом, войной, бытом). Дошедшие до нас древние фольклорные тексты – это только вырванные из многосторонней целостности *элементы* синтетического народного искусства, вне которого они во многом утрачивают свой действительный смысл и облик. Между тем поэзия – это искусство, полноценно существующее именно как текст, как явление художественного *слова*.

Когда же началась на Руси история этого искусства? Подчас историю русской поэзии начинают с творчества Пушкина и его современников. В этом есть своя правда. Пушкин создал *классический* стиль, который и *поныне* является образцом и мерой художественности. Поэзия Пушкина всецело *жива* и сегодня и, по всей вероятности, будет живой и, если угодно, *современной* всегда. Предшествующее Пушкину развитие поэзии воспринимается поэтому как подступы, как *предыстория*.

Но существует и другая сторона проблемы. Допушкинская поэзия имеет, конечно же, и вполне *самостоятельное* значение – нельзя глядеть на нее только из будущего. Правда, здесь уже дело осложняется. Если поэзия Пушкина не отделена сколько-нибудь значительным барьером от *современной* эстетики, то, скажем, поэзия Державина имеет уже во мно-

гом ушедшие в прошлое эстетические основы. И для того чтобы действительно воспринять ее, необходимо приобщиться к этой архаической – *доклассической* – эстетике. Проблема эта встала уже перед *первым* послепушкинским поколением. Так, Белинский писал в 1843 году: «Читая даже лучшие оды Державина, мы должны делать над собой усилие, чтобы стать на точку зрения его времени относительно поэзии, и должны научиться видеть прекрасное»³⁵. И в другом месте – об одной из известнейших од Державина «Вельможа», при чтении которой, по словам Белинского, «должно забыть эстетические требования нашего времени и смотреть на нее как на произведение *своего* времени: тогда эта ода будет прекрасным произведением»³⁶.

Нельзя не обратить внимание на поистине поразительный факт. Менее чем через *тридцать* лет после смерти Державина для восприятия его поэзии необходимо было сначала освоить эстетику его времени; между тем мы и теперь воспринимаем зрелую поэзию Пушкина, погибшего больше ста пятидесяти лет назад, без какой-либо специальной «подготовки». Пушкинская лирика выступает, так сказать, как явление *нашей* эстетической «эры», – а лирика Державина в значительной степени являет собой воплощение иной, уже давно ставшей архаической, художественности.

Между Державиным и Пушкиным проходит существеннейший исторический рубеж; пушкинская эпоха, начавшаяся после Отечественной войны 1812–1815 годов, создает поэтическую культуру, развитие которой в новых исторических условиях продолжается и поныне.

Но об этом еще пойдет речь; сейчас целесообразно углубиться далее в прошлое, чтобы представить себе – пусть в самых общих чертах – всю картину развития отечественной поэзии. Как уже говорилось, для многих читателей история русской поэзии начинается, по сути дела, с Пушкина и его современников. Для других читателей – и, кстати, для многих исследователей – эта история начинается на столетие ранее – с Ломоносова.

В 1739 году Ломоносов создал трактат «Письмо о правилах российского стихотворства» и «Оду на победу над турками и татарами и на взятие Хотина», в которых теоретически и практически утвердил те принципы русского стиха, которые в общем и целом существуют и поныне³⁷. Ода начинается строками, как бы символизирующими начало великой русской поэзии:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой...³⁸

Некоторые фрагменты этой написанной 260 лет назад оды и сейчас полны живой поэтической силы:

Шумит с ручьями бор и дол:
Победа, Росская победа!
Но враг, что от меча ушел,
Боится собственного следа...

Есть большой соблазн видеть в этой оде самый *исток* русской лирики. Однако задолго до нее в России достаточно развивалась так называемая *силлабическая* поэзия. Она не обла-

³⁵ Белинский В. Г. Собр. соч. В 3 т. Т. 3. М., ГИХЛ, 1948. С. 555.

³⁶ Там же. Т. 2. С. 534.

³⁷ Следует отметить, что Ломоносов опирался на изданный ранее, в 1735 году, трактат Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов...».

³⁸ Еще сравнительно недавно в слове «верх» (как и «первый», «зеркало» и пр.) «р» произносилось мягко; некоторые люди говорят так и поныне.

дала той ритмической стройностью и динамикой, которые присущи стиховым формам, утвержденным Ломоносовым. Но нельзя отрицать, что, скажем, эти вот написанные три с четвертью столетия назад строки Кариона Истомина являются фрагментом лирического стихотворения:

Здесь во велице России издавна
Мудрость святая пожеланна славна;
Да учатся той юнейшыя дети
И собирают разумные цветы;
Навыкнут же той совершении мужи,
Да свободятся от всякия нужи...³⁹

Дошли до нас и еще более ранние стихи – пусть и совсем уж нестройные с современной точки зрения, но все же, без сомнения, принадлежащие к тому, что мы называем лирической поэзией. Триста восемьдесят лет назад, в начале 1620-х годов, Иван Хворостинин написал «Предисловие, изложено двоестрочным согласием, краестиховие по буквам», которое начинается так:

Красны повести благоверных
Нечестия посрамляют зловерных.
Яко светлостию сияет звезда,
За благоверия дается святым многая мзда.
Яко явственню православнии сие внимали
И в божественне закон церковный принимали,
Началы богоподобными изрядно сияли,
Аки непобедимыя во благочестии стояли.
Красные зело имуще словеса,
Неложны бо их светлолепя чюдеса...

Итак, начало русской поэзии следует отодвинуть еще на одно столетие, в начало XVII века. Но это, кажется, последний предел; историки обычно не идут дальше в глубь времен (оговаривая, правда, что лирическая стихия жила уже в древнейшем фольклоре).

Между тем *достоверная* история русского искусства слова началась на шесть столетий раньше. К тому же есть основания полагать, что искусство это существовало задолго до того времени, к которому относятся дошедшие до нас памятники, ибо известные нам произведения XI века – например, «Слово о Законе и Благодати» Илариона – уже обладают высокой художественной культурой.

Но можно ли говорить о развитии поэзии в ту далекую эпоху? Русское искусство слова XI–XVI веков рассматривается чаще всего как царство *прозы* (хотя и имеющей ритмические свойства). С другой стороны, в этом искусстве обычно не выделяют собственно *лирической* стихии.

Необходимо, однако, иметь в виду, что памятники допетровской словесности лишь в самое последнее время стали изучаться с *эстетической* точки зрения. В XIX – начале XX века появилось множество фундаментальных исследований о допетровской письменности, но проблема собственно эстетических свойств тех или иных памятников почти не ставилась. Только в наше время началось широкое и целеустремленное изучение художественного смысла и формы отечественной словесности XI–XVII веков. И конечно, многое здесь

³⁹ Лишь через 70 лет Ломоносов написал свое общеизвестное «Науки юношей питают...».

еще далеко не выяснено. Так, не решен даже самый общий вопрос о характере *строения* речи в допетровской словесности. Почти все дошедшие до нас памятники этой словесности рассматривались в общем и целом как прозаические; исследователи не находили в их речи соизмеримых отрезков, *строк*, без которых не может быть поэзии, стихотворчества.

Однако в последние десятилетия не раз предпринимались попытки выявить членение на строки, которое как бы само собой напрашивается в целом ряде древних памятников – особенно в «Слове о полку Игореве» или в «Житии Стефана Пермского», созданном в XV веке Епифанием Премудрым.

Есть все основания полагать, что многим памятникам XI–XVII веков внутренне присуща своеобразная, по-своему стройная ритмическая система, и в частности – членение на соизмеримые элементы, своего рода стиховые строки, но они, эти памятники, записывались «как проза» уже хотя бы ради экономии тогдашней «бумаги» – пергамена, который был очень дорогостоящим материалом. Однако при чтении, *исполнении* памятников эта ритмическая система выявлялась, надо думать, со всей очевидностью. Сейчас мы можем дать только предположительное, гипотетическое членение этих памятников на стиховые строки, но самый факт такого членения представляется мне неоспоримым.

Так, «слова» («слово» – это особенный тогдашний жанр) выдающегося писателя XII века Кирилла Туровского (ИЗО-1182) явно тяготеют к «стихотворному» строению. Вот, скажем, фрагменты его пасхального, весеннего «слова»:

...Днесь весна красуется,
оживляючи земное естество:
бурнии ветри, тихо повевающе,
плоды гобзуют⁴⁰,
и земля, семена питаючи,
зеленую траву ражает...
...Ныня ратаи слова,
словесныя унца
к духовному ярму приводяще
и крестное рало
в мысленых браздах погружающе,
и бразду покаяния начертающе,
семя духовное высыпаяще,
надежами будущих благ веселяться...

Конечно, современному читателю нелегко действительно воспринять и оценить эти написанные восемьсот с лишним лет назад строки. Для этого необходимо погрузиться в стихию древнерусского языка и, с другой стороны, в духовную и художественную культуру столь далекой от нас эпохи. Но, во всяком случае, нельзя не видеть, что перед нами явление, родственное тем современным художественным явлениям, которые мы зовем лирической поэзией, – родственное и по смыслу, и по структуре.

Еще более несомненный лирико-поэтический характер имеет ценнейшее произведение того же времени, известное под названием «Слово (или же послание, моление) Даниила Заточника»:

...Княже мои, господине!
Не воззри на внешняя моя,

⁴⁰ Значение устаревших слов: *гобзуют* – умножают, *ратаи* – пахари, *унца* – быки, *рало* – соха.

но вонми внутренняя моя.
Аз бо семь одеянием скуден,
но разумом обилен;
юн возраст имьи,
но стар смысл вложих в онь;
и бых паря мыслию своею,
аки орел по воздуху...
...Княже мои, господине!
Не зри на мя, аки волк на агнеца,
но зри на мя, яко мати на младенца.
Воззри на птица небесныя,
яко ни сеют, ни жнут,
ни в житница собирают,
но уповают на милость Божию...
Княже мои, господине!
Аще семи на рати не велми храбр,
но в словесех крепок;
тем собирай храбрыя
и совокупляй смысленыя...

Сошлюсь еще на «слово» о трагедии татаро-монгольского нашествия, созданное в XIII веке Серапионом Владимирским⁴¹. Бог, писал он,

...Наведе на ны
язык⁴² немилостив,
язык лют,
язык не щадящъ красы уны,
немощи старецъ,
младости детии...
Кровь и отецъ и братия наша,
аки вода многа,
землю напои;
князии наших воевод
крепость ищезе;
храбрии наша
страха наполнишеса, бежаша;
множайшее же братия и чада наша
в плен ведени быша.
Села наша лядиною поростоша,
и величество наша смирися;
красота наша погыбе;
богатство наше
онимь в корысть бысть;
труд наш погании наследоваша:
земля наша

⁴¹ Сцена исполнения Серапионом этого слова перед жителями Владимира ярко воссоздана в романе Дмитрия Балашова «Младший сын» (см.: «Север», 1975, № 10, с. 48–50).

⁴² Значение устаревших слов и форм: *на ны* – на нас, *язык* – народ, *уны* – юной, *ищезе* – исчезла, *лядина* – молодой лес.

иноплеменником в достояние бысть...

Решусь утверждать, что эти произведения – пусть различные по своему характеру и имеющие разную художественную ценность – следует рассматривать как древние образцы русской поэзии. Это в конечном счете *стихотворения*, хотя и очень еще далекие от современной стиховой культуры, начавшей свое развитие в XVIII веке. Их почти не изучавшаяся до сих пор ритмическая система основана на совсем иных принципах, чем современный русский стих. Но система эта, как представляется, вполне реальна. Одно из убедительных доказательств существования этой ритмической системы – ее несомненное *развитие* и совершенствование, которое можно отчетливо проследить во времени.

Мы прочитали фрагменты лирических произведений XII–XIII веков. А на рубеже XIV–XV веков, в пору расцвета русской культуры после победы на Куликовом поле, творит один из крупнейших древнерусских художников слова Епифаний Премудрый, в произведениях которого поэтический строй выступает гораздо более очевидно. Его «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископа» (Стефан, в частности, создал зырянскую письменность) завершается лирическим «Плачем и похвалой», где воплотилась четкая ритмическая система⁴³:

Тебе и Бог прослави,
и ангели похвалиша,
и человецы почтиша,
и пермяне ублажиша,
иноплеменницы покоришася,
иноязычницы устыдишася,
погании посрамишася,
кумири сокрушишася...
...Что еще ты нареку,
вожа заблудшим,
обретателя погибшим,
наставника прельщенным,
руководителя умом ослепленным,
чистителя оскверненным,
взыскателя расточенным,
стража ратным,
утешителя печальным...
...поганым спасителя,
бесом проклинателя,
кумиром потребителя,
идолом попитателя...

Это слово, без сомнения, читалось в московских соборах (скажем, в построенном еще Иваном Калитой соборе Спаса на Бору, где и был похоронен в 1396 году Стефан Пермский), и можно представить себе, как отдавались под их сводами эти созвучия, напоминающие переключку колоколов.

⁴³ Созвучия в этих строках – не рифмы в собственном смысле слова, а, как убедительно показал С. С. Аверинцев, гомеотелефты (см. его работу «Традиция греческой „диалектики“ и возникновение рифмы» в ежегоднике «Контекст. 1976». М., «Наука», 1977. С. 81–99). Но это только подчеркивает своеобразие ритмической системы древнерусской поэзии.

В этом самом «Плаче и похвале» Епифаний много размышляет и об искусстве слова, упоминая, в частности, что «некогда с тобою (то есть со Стефаном Пермским) спирахся... о коемждо стисе или о строце» (то есть спорил о каком-нибудь *стихе*, или о *строке*). Задачу мастера слова Епифаний видит в том, чтобы

неудобренная удобрить,
и неустроеная устроить⁴⁴,
и неухыщренная ухитрити,
и несвершенная закончати...

Все это показывает, что уже в XV веке на Руси существовала вполне *осознанная* стихотворная культура, которую, к сожалению, мы только лишь начинаем серьезно изучать.

Совершенно ясно, что творчество Епифания Премудрого – это уже очень высокая ступень развития русской поэзии. Мы шли, так сказать, в глубь веков, и теперь следует сделать последний доступный при теперешнем состоянии науки о литературе шаг.

Как уже говорилось, лирика уходит корнями в древнейшее народное творчество, где она выступает как элемент синкретического целого – единства слова, музыки, танца, обрядового действия. Но в развитии каждого народа был, по-видимому, этап формирования собственно *песенной* культуры, который предшествовал возникновению лирической поэзии как таковой (то есть как одной из форм искусства *слова*).

Сам термин «лирика» (от *древнегр.* *lyricus* – поющий под инструмент, известного уже с VI века. В XI столетии в Киеве жил великий русский *песнотворец* (по тогдашней терминологии) Боян, чье имя позднее стало нарицательным. В «Слове о полку Игореве» приведены фрагменты из его песен.

Боян в «Слове о полку Игореве» назван внуком Велеса – древнерусского языческого бога, который, как и древнегреческий Аполлон, был одновременно покровителем и пастухов, и искусств. Творец «Слова о полку Игореве» как бы отграничивает себя, поэта в собственном смысле, от Бояна, чье творчество еще неотделимо от музыки. Боян, говорится здесь,

своя вещь персты
на живая струны вскладаше;
они же сами
князем славу рокотаху.

И к концу XII века, когда было создано «Слово о полку Игореве», поэзия уже, очевидно, окончательно отделилась от музыки, став самостоятельным искусством.

Собственно говоря, древнейшее из известных нам творений русской поэзии – это «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона, созданное в 1038 году:

Виждь и град величством сняющь,
виждь церкви цветущи,
виждь христианство растуще,
виждь град иконами святых освещаем,
блистающесе, и тимьяном объухаем⁴⁵,

⁴⁴ Это, собственно, и значит создать стих, ибо «стих» по-гречески означает строй, ряд (Епифаний, как мы видели, употреблял и греческий термин «стих»).

⁴⁵ *Тимьяном объухаем* – фимиамом благоухающий.

и божественными пениями святыми оглашаем.

* * *

Итак, достоверная история русской поэзии длится около тысячелетия. С первого взгляда может показаться, что древние ее образцы слишком резко отличаются от послеломоносовской – не говоря уже о послепушкинской – лирики и между теми и другими нет существенной прямой связи. Однако, если проследить развитие лирической стихии век за веком (для этого нужен, конечно, особый и очень объемистый труд), станет ясно, что прочная и непрерывающаяся традиция здесь есть.

Особенно это касается лирики возвышенного и в то же время обобщающего, вселенского пафоса. Существует, без сомнения, глубокая внутренняя связь между «словами» Илариона, Серапиона, Епифания Премудрого и одами Ломоносова и Державина, которые, в свою очередь, непосредственно подготовили рождение таких великих лирических стихотворений, как пушкинский «Пророк» или тютчевские «Два голоса». Чтобы отчетливо увидеть эту связь древнего и нового, обратимся к творчеству великого художника слова, стоявшего на грани двух исторических эпох, – Аввакума Петрова (1621–1682). Он нераздельно связан с художественным наследием словесности XI–XVI веков, но вместе с тем вырвался в своем творчестве далеко вперед; его произведения, в частности, проникнуты таким мощным *личностным* пафосом, какого совершенно не знало предшествующее искусство слова⁴⁶.

Аввакум известен прежде всего как творец повествования о своем жизненном пути, знаменитого «Жития». Но в то же время этот великий художник слова создал целый ряд «посланий» и «писем», имеющих глубоко *лирический* характер. Вот фрагменты одного из таких его произведений, относящегося к 1669 году:

...Распространился язык мой
и бысть велик зело,
потом и зубы быша велики,
и се и руки быша и ноги велики,
потом и весь широк и пространен
под небесем по всей земли распространился,
а потом Бог вместил в меня
небо, и землю, и всю тварь...
...Не сподоблюся савана и гроба,
но наги кости мои
псами и птицами небесными
растерзаны будут и по земле влачимы;
так добро и любезно мне на земле лежати
и светом одеянну и небом прикрыту быти;
небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь...

От этих могучих строк не так уж далеко до величественной оды Державина «Бог» (1784):

...Частица целой я Вселенной,

⁴⁶ Подробная характеристика творчества Аввакума Петрова дана в главе «Художественный смысл „Жития“ Аввакума», вошедшей в мою книгу «Происхождение романа» (М., «Советский писатель», 1963. С. 220–263).

Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю.
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я Бог!..

А эти стихи уже непосредственно предвещают «философскую» лирику Пушкина, Боратынского, Тютчева. Вместе с тем нельзя не сказать, что у Державина и, конечно, в еще большей степени Аввакума есть не могущая повториться позднее первозданность и целостность мировосприятия. Тютчев обращался к человеку – в том числе и к самому себе – с таким призывом («Весна», 1839 год):

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

А для Державина и тем более Аввакума эта «причастность» несомненна и изначальна. Вполне понятно, что обусловлено это именно первозданностью мировосприятия, недостаточной развитостью *самосознания*, в котором человек отделяет и противопоставляет себя миру. Но столь же ясно, что такое мироощущение порождает величественную и обладающую своей самобытной ценностью лирическую стихию.

Однако вернемся к вопросу о месте Аввакумова лиризма в развитии художественной культуры. В этом лиризме уже отчетливо наметился переход от *средневекового* мироощущения к духу нового времени. Конечно, творчество Аввакума прямо и непосредственно вырастает из всей предшествующей традиции. Но в то же время Аввакум отказывается от многих устоявшихся канонов. Это ясно выразилось в его знаменитых словах: «Аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущий и слышаший, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природной язык, виршами философскими не обык речи красить...»

Просто и глубоко лично звучит Аввакумово «слово плачевное», созданное ровно 325 лет назад и посвященное памяти ближайших соратниц – Феодосьи Морозовой, Евдокии Урусовой и Марии Даниловой, замученных в Боровской тюрьме:

Увы, увы, чада моя прелюбезная!
Увы, други моя сердечная!
Кто подобен вам на сем свете,
разве в будущем снятии ангели!
Увы, светы мои, кому уподоблю вас?

Подобии есте магниту каменю,
влекушу к естеству своему всяко железное.
Тако ж и вы своим страданием
влекуще всяку душу железную
в древнее православие.
Иссуше трава, и цвет ея отпаде,
глагол же Господень пребывает вовеки.
Увы мне, увы мне,
печаль и радость моя осажденная,
три камня в небо церковное
и на поднебесная блещашеся!..
...Увы, увы, чада моя!
Никтоже смеет испросити
у никониян безбожных
телеса ваша блаженная,
бездушна, мертва, уязвенна,
поношеньми стреляема,
паче ж в рогожи обреченна!
Увы, увы, птенцы мои,
вижу ваша уста безгласна!
Целую вас, к себе приложивши,
плачуши и обლობызаючи!
Не терплю, чада,
бездушных вас видети,
очи ваши угаснувши в дольних земли,
их же прежде зрях,
яко красны добротою сияюща,
ныне же очи ваши смежены,
и устне недвижимы.
Оле, чудо, о преславное!
Ужаснися небо,
и да подвижатся основания земли!
Се убо три юницы непорочный
в мертвых вменяются
и в бесчестном худом гробе полагаются,
им ж весь мир не точен бысть⁴⁷.
Соберитесь, рустии сынове,
соберитесь, девы и матери,
рыдайте горце
и плачите со мною вкупе
другое моих соборным плачем!..

В то время, когда Аввакум создал это «слово плачевное», в России уже широко развивалось *силлабическое* стихотворчество, принципы которого были заимствованы из польской поэзии. Строки в силлабических *виршах* (как их называли – от латинского слова «vers» – стих) состояли из одинакового количества – чаще всего одиннадцати или тринадцати – слогов; каждые две соседних строки оканчивались элементарной рифмой.

⁴⁷ Точен – равен; рустии – русские.

Но в «слове» Аввакума ничего этого нет. Характерно, что крупнейший представитель силлабического стихотворства, Симеон Полоцкий (1629–1680), сказал Аввакуму после жестокого спора с ним: «Острота, острота телесного ума! а се не умеет науки!» Это можно отнести и к поэтическому творчеству Аввакума: в нем нет силлабической «науки», но ярко воплощена «острота телесного ума», стихия глубокого, захватывающего человека целиком переживания. Аввакум вполне сознательно отказывался от стихотворческой «науки» его времени: уже приводились его слова, что-де он «вирами философскими не обык речи красить».

Силлабический стих, который был естествен для поэзии на польском языке с присущей ему акцентной системой (словесное ударение в польском языке всегда падает на предпоследний слог и значительно слабее русского ударения), явно не соответствовал природе русского языка. На силлабических виришах лежит печать искусственности.

Любимый ученик Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев (1641–1691) написал вириши на смерть своего дорогого учителя. Но этот его «Епитафион», в отличие от «слова плачевного» Аввакума, звучит холодно, искусственно, рассудочно:

Зряй, человек, сей гроб, сердцем умилися,
О смерти учителя славна прослезися:
Учитель бо зде токмо един таков бывый,
Богослов правый, церкви догмата хранивый.
Муж благоверный, церкви и царству потребный,
Проповедию слова народу полезный, —
Симеон Петровский от всех верных любимый,
За смиренномудрие преудивляемый... —

и т. д.

Эти строки, несмотря на свою стихотворную «науку», имеют более средневековый характер, чем «слово плачевное» Аввакума, проникнутое тем живым личностным духом, который составляет неотъемлемую основу позднейшей поэзии. Лиризм Аввакума предвосхищает это новое искусство, выразившееся, например, в поздних стихах Державина на смерть жены (1794):

Не сияние луны бледное
Светит из облака в страшной тьме,
Ах! лежит ее тело мертвое,
Как ангел светлый во крепком сне.
Роят псы землю, вокруг завывают,
Воет и ветер, воет и дом;
Мою милую не пробуждают;
Сердце мое сокрушает гром!..
...Все опустело! Как жизнь мне снести?
Зельная меня съела тоска.
Сердце, души половина, прости,
Скрыла тебя гробова доска...

Если наметить самую общую схему развития русской лирики, то именно «послания» и «слова» Аввакума следует признать рубежом, вехой, с которой начинается новый этап в этом развитии, сменяющий *средневековую* эпоху. Однако в творчестве Аввакума новый лиризм не обрел и не мог обрести идеального художественного воплощения. Для этого было необ-

ходимо создание зрелой и совершенной *поэтической формы*, которая впервые предстала в творчестве Ломоносова.

Мы сталкиваемся здесь со своего рода противоречием: аввакумовский лиризм по своим содержательным свойствам подчас ближе нам, чем более «обобщенная» лирика Ломоносова. Но в то же время в ломоносовской поэзии мы находим строки, достойные войти в золотой фонд лирического искусства, – скажем, знаменитое двустишие о вечернем небе:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна, —

а у Аввакума нас поражает еще не определившаяся, не ставшая законченным воплощением прекрасного, но полная духовной мощи лирическая стихия.

В поэзии XVIII века подчас воплощается и такая сила, и такая острота человеческих страстей, которые, пожалуй, не найдешь в более «умеренной» позднейшей поэзии. Вот, например, ярчайший образец любовной лирики – стихотворение под названием «Песня», опубликованное без имени автора в 1772 году в журнале «Вечера», издававшемся литературным кружком М. М. Хераскова, в котором участвовали поэты И. Ф. Богданович, В. И. Майков, А. А. Ржевский, А. В. Храповицкий.

Ты, кровь мою встревожа
И ум мой полоня,
Прости, моя надежа,
Ты едешь от меня.
Я вечно не забуду
Любви твоей ко мне.
А плакать я не буду,
Хоть скучно будет мне.
Я столь великодушен,
Что много не грущу;
И столь тебе послушен,
Тебя я отпущу.
Я вечно не забуду
Любви твоей ко мне.
А плакать я не буду
Ни в яви, ни во сне.
Ты, страсть мою умножа,
Умножила мой жар;
Живи, моя надежа,
Ты там хоть у татар.
Я вечно не забуду
Любви твоей ко мне.
А плакать я не буду,
Гори ты на огне!

* * *

На рубеже XVII–XVIII веков в России берет свое начало та стадия развития культуры, которую мне хотелось бы назвать эпохой русского Возрождения; в творчестве Пушкина и

молодого Гоголя она находит свое высшее выражение и завершение. Нельзя не оговорить, что эта точка зрения пока спорна, служит предметом дискуссий. До сих пор господствуют иные представления об этом историческом периоде. Однако попытаюсь обосновать свои представления.

Движение русской культуры конца XVII – первой трети XIX века рассматривали как последовательную смену целого ряда специфических художественных *направлений* – барокко, классицизма, просветительства, сентиментализма, романтизма и, наконец, начального этапа критического реализма (зрелые Пушкин и Гоголь). Но эта концепция, сложившаяся в основных своих чертах *полтора* (!) лет назад и, без сомнения, сыгравшая в свое время позитивную роль в систематизации явлений русской литературы, все более очевидно обнаруживала свою неполноту, свою неспособность охватить весь противоречивый и сложный процесс литературного развития.

Нет сомнения, что барокко, классицизм, просветительство и другие направления, активно развивавшиеся в XVII – начале XIX века на Западе, так или иначе *вливали* на русскую культуру данного времени. Но истинная сущность и смысл развития нашей культуры в эту эпоху состояли в переходе от Средневековья к Новому времени, – то есть соответствовали «возрожденческой», *ренессансной* стадии духовного и художественного творчества.

Здесь невозможно подробно говорить о содержании этой эпохи истории русской литературы, которое я стремился раскрыть в нескольких специальных статьях: К методологии истории русской литературы. – «Вопросы литературы», 1968, № 5; О принципах построения истории литературы. – «Контекст. 1972». М., «Наука», 1973; Эпоха Возрождения в русской литературе. – «Вопросы литературы», 1974, № 8; Своеобразие и типология. – «Контекст. 1975». М., «Наука», 1976; Литература и социология. М., «Художественная литература», 1977; Русская литература и термин «критический реализм». – «Вопросы литературы», 1978, № 8 и др.

Сошлюсь также на работу одного из современных специалистов по истории русской литературы XVIII – начала XIX века Г. П. Макогоненко «Проблемы Возрождения и русская литература», в которой доказывается, что с конца XVII века до Гоголя «русская культура в целом, русское искусство и литература, в частности, активно решали общевозрожденческие проблемы» и «эту эпоху, хотя и условно, можно назвать русским Возрождением. Название должно лишь подчеркнуть важнейшие и характернейшие явления складывающейся новой русской культуры и литературы»⁴⁸.

Но что такое ренессансная культура, и в частности ренессансная лирика? На той стадии развития, которая называется эпохой Возрождения, осуществляется, во-первых, двуединый процесс *национального самосознания* и одновременно приобщения к *мировой* культуре. Важно понять, что речь идет о нераздельно связанных сторонах единого процесса. Народ может осознать себя как самобытную целостность только лишь перед лицом или, точнее, многоликостью человечества – перед развернутой во времени и пространстве мировой культурой. А с другой стороны, народ не способен освоить многообразие всечеловеческой культуры, не осознав своей собственной неповторимой сущности. Именно этот двуединый процесс и совершался, на мой взгляд, в русской культуре – конечно, глубоко своеобразно – с конца XVII века до Пушкина.

Прежде чем мы перейдем к разговору о русской ренессансной лирике, необходимо предупредить одно возможное недоумение. Как известно, в основных странах Запады – Франции, Испании, Англии – эпоха Возрождения приходится на XVI – начало XVII века. И вот встает вопрос об огорчительном «отставании» русской культуры, которая пережила аналогичную эпоху лишь двумя столетиями позже – в XVIII – начале XIX века.

⁴⁸ «Русская литература». 1973, № 4. С. 69.

Однако с теми же основаниями можно говорить и о безнадежном «отставании» французской, испанской и английской культур, ибо эпоха Возрождения осуществилась в них также на два столетия позже, чем в Италии (Данте, Боккаччо, Петрарка творили в XIV, а не в XVI столетии!). Я уже не говорю о том, что западноевропейские народы находились на стадии варварства в то время, когда древнегреческая, а затем римская культура переживали высочайший расцвет...

Речь должна идти не об «отставании», но о *неравномерности* развития различных народов, обусловленной сложнейшими географическими, историческими и иными факторами. Достаточно напомнить о том, что русский народ вынужден был созидать свою культуру в неизмеримо более трудных природных и климатических условиях, нежели народы Западной Европы. Далее, ему суждено было осваивать огромное пространство, превышающее по площади Западную Европу в целом. Наконец, Русь в течение тысячелетия подвергалась бесчисленным набегам кочевых племен Азии, для которых война была своего рода ремеслом. Едва ли можно сомневаться в том, что Запад не вступил бы к XVI веку в стадию Ренессанса, если бы эти атаки не захлебывались на Русской земле. Я уже не говорю о том, что в XIII–XVI веках Руси постоянно приходилось сражаться «на два фронта», ибо ее западные соседи с вопиющей неблагодарностью покушались на завоевание своей спасительницы.

Но дело не только в этом. Ценность национальной культуры определяется в конечном счете не тем, в каком веке она вступает в ту или иную стадию развития, а глубиной и высотой ее достижений. В XIX веке новая русская литература стала *ведущей* литературой мира, что признают ныне все достойные уважения деятели культуры Запада.

Не следует забывать и о том, что так называемая древнерусская – точнее, средневековая – русская культура X–XVI веков создала свои величайшие художественные ценности, обладающие безусловным *мировым* значением, – былины о Микуле Селяниновиче, Илье Муромце, Василии Буслаеве, новгородские и владимирские соборы, северное многоголосое пение и самобытную русскую литургию, «Слово о полку Игореве» и «Повесть о разорении Рязани Батыем», фрески и иконы Андрея Рублева и Дионисия и т. п.

Если даже и говорить об «отставании», то дело идет об отставании с чисто *стадиальной* точки зрения, а вовсе не о культурной отсталости как таковой.

После победоносной эпохи Петра началось быстрое и интенсивное становление новой русской культуры. Вначале она осваивает античную культуру, которая обобщила и возвела на высочайший уровень все предшествующее культурное творчество. Западноевропейское Возрождение началось в XIV веке с того, что в Италии было «возрождено» наследие античности, которое затем, в XVI – начале XVII века, через посредство Италии освоили основные культуры Западной Европы. Должно это было произойти и в России.

Уже приводилось начало *первой* ломоносовской оды, ставшее своего рода символом начала новой русской поэзии:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой...

В следующей строфе выясняется, какую гору имеет в виду поэт. Речь идет об обитающем древнегреческих «сестер»-муз, горе Парнас, которая расположена рядом с горным хребтом Пинд; здесь бьет Кастальский ключ и течет река Пермес – источники поэтического вдохновения:

Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю,

Теку спешно к оных лику...
... Умой росой Капальской очи,
Чрез степь и горы взор прости,
И дух свой к тем странам впери,
Где всходит день по темной ночи...

Итак, приобщаясь к плодотворному истоку всей европейской культуры, Ломоносов простирает взор и вперяет дух к Востоку, к своей России.

В юности Ломоносов овладел допетровской русской культурой, но затем считал необходимым выйти далеко за ее пределы. Дело шло вовсе не о каком-либо подчинении иным культурным традициям, но, напротив, о том, чтобы *присвоить* себе мировые культурные ценности, подчинить их своим национальным интересам. Нет сомнения, что в тех или иных случаях имело место пассивное (а подчас и рабское) следование чужим образцам. Но не ошибается, как известно, лишь тот, кто ничего не совершает. Осваивая мировую культуру, русская культура выявляла и осознала на ее фоне свои самобытные цели и ценности. Для этого необходимо было, в частности, так или иначе *соизмерить* свое и общечеловеческое. Поэтому формы воплощения или, иначе говоря, «язык» русской культуры сближался с «языками» других великих культур. Это ясно отразилось и в лирике – в том числе в ее ритмическом строении. Но именно в *сопоставимых* формах глубоко и полноценно развивается та самобытность, которая воплотилась в лирике Державина и Пушкина, Боратынского и Языкова, Тютчева и Лермонтова, Некрасова и Фета, Блока и Есенина. Совершенно ясно, что эпоха Возрождения в культурах Западной Европы, обратившая их к великому наследию античности и тесно их сблизившая, ни в коей мере не нарушила самобытности французской, испанской или английской лирики. Напротив, национальное своеобразие лирического творчества западноевропейских народов отчетливо выявилось и было осознано именно в ренессансную эпоху. И русская лирика не составляет и в этом смысле какого-либо исключения.

* * *

Итак, с конца XVII века до Пушкина в русской лирике осуществляется двуединый процесс национального самосознания и активного взаимодействия с мировой поэтической культурой. В то же время совершается и чрезвычайно существенное для лирической поэзии становление всецело самостоятельной *личности*.

Конечно, всякая лирика есть воплощение личности поэта. Но в средневековую эпоху вообще еще не могла сложиться человеческая личность в *современном* значении этого слова. Человек допетровской Руси был как бы неотъемлемой частицей вполне определенной и четко отграниченной общественной ячейки, – скажем, княжеской дружины, монастыря, крестьянской общины, ремесленного цеха, купеческого «товарищества» и т. п. И это определяло весь характер его поведения и сознания. Непосредственно личные свойства – индивидуальная мысль, чувство, воля – представлялись в сущности чем-то аномальным и даже безнравственным. Человек, так сказать, добровольно подавлял их в себе – не говоря уж о внешнем давлении среды.

Не менее важна и другая сторона дела. Посвящая себя какой-либо деятельности, средневековый человек стремился воплотить в ней не свою личную мысль, чувство, волю, но определенную *традицию, канон, завет*. Это выражалось и в быту, и в труде, и в искусстве.

Необходимо, конечно, иметь в виду, что это «подавление личности» выступает как нечто «отрицательное» лишь с современной точки зрения. В средневековом бытии была своя правда, свой смысл и красота, воплотившиеся, в частности, в великих творениях искусства. И попросту бессмысленно мерить это бытие и порожденное им искусство нынешней мерой.

В XI–XVI веках (с XVII века начинается новый этап развития) творец художественного произведения – в том числе лирического – ставил перед собой задачу создать нечто образцовое в данном роде, а не выразить себя.

Об этом сказал Д. С. Лихачев в связи с проблемой литературных жанров: «...В отличие от литературы нового времени, в Древней Руси жанр определял собой образ автора... Произведение нового времени отражает личность автора в создаваемом им образе автора. Иное в искусстве средневековья. Оно стремится выразить коллективные чувства, коллективное отношение к изображаемому. Отсюда многое в нем зависит не от творца произведения, а от жанра, к которому это произведение принадлежит... Каждый жанр имеет свой строго выработанный традиционный образ автора... Индивидуальные отклонения по большей части случайны, не входят в художественный замысел произведения»⁴⁹.

Это можно сказать, конечно, не только о жанровых свойствах, но и о произведении в целом. В приведенных выше отрывках из произведений Илариона, Кирилла Туровского, Даниила Заточника, Серапиона Владимирского, Епифания Премудрого, Ивана Хворостинина, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, без сомнения, есть те или иные *индивидуальные* особенности. Но они, так сказать, не входят в самое существо произведений. Перед нами *обобщенная*, «образцовая» лирика. И *личные* усилия ее творцов были целиком устремлены к тому, чтобы создать эту обобщенность, выражающуюся в традиционных, устойчивых образных формулах, каноническом выборе слов и созвучий. Личность, творец выступает здесь как носитель традиции, исполнитель завета.

Положение начинает меняться лишь в XVII веке. В это время – разумеется, в силу самого социально-исторического развития – вековые формы средневекового мира расшатываются. Это ярко выразилось, например, в церковном расколе, одним из вождей которого был Аввакум. Раскольники как бы выломались из существующей системы. Так, например, рухнули, по сути дела, сословные перегородки, ибо примкнувшие к Расколу люди – от «четвертой (то есть занимающей четвертую ступень в боярской иерархии) боярыни» Морозовой до рядовых крестьян и стрельцов – оказались в одном положении. Между ними складывались уже в той или иной степени личные человеческие отношения. Это и породило ту личностную стихию, которая так поражает в творчестве Аввакума. С этой точки зрения Аввакум даже «превосходит» многих писателей XVIII века, которые нераздельно связаны с *государством*, – между тем как Аввакум откололся не только от церкви, но и от государства. Сами его религиозные убеждения благодаря их «внецерковности» приобретают личностный характер⁵⁰. С этой точки зрения творчество – в частности лирическое творчество – Аввакума ближе эстетическому восприятию XIX века, чем, скажем, творчество Ломоносова.

Однако новая культура – и, в частности, лирическая поэзия – никак не могла создаться на почве Раскола. Творчество Аввакума не имело существенных последствий и, более того, стало мирским достоянием лишь в XX веке (хотя его очень высоко оценили уже Толстой и Достоевский).

Раскольническое движение не было способно ни объединить национальную целостность народа, ни определить полнокровное развитие личности. На данном этапе русской истории это могло осуществиться только в условиях могучего национального государства, сложившегося при Петре Великом. То же самое мы видим и в Западной Европе эпохи Возрождения. Новая культура формируется во Франции, Испании, Англии в условиях мощной абсолютистской государственности XVI века, породившей, в частности, фигуры великих королей, в тех или иных отношениях близких Петру, – Генриха VIII (Англия), Карла V (Испания), Франциска I (Франция).

⁴⁹ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е. «Художественная литература», 1971. С. 59.

⁵⁰ См. об этом в моей уже упомянутой книге «Происхождение романа».

Мощная централизованная государственность, укрепленная Петром, явилась необходимым инструментом создания русской нации. Именно этим обусловлены те восторженные гимны в честь государства (нередко *олицетворенного* в фигурах монархов), которых так много в русской лирической поэзии XVIII – начала XIX века. Вплоть до Отечественной войны 1812–1815 годов интересы нации и государства в той или иной степени совпадали либо, во всяком случае, *представлялись* совпадающими.

В течение XVIII – начала XIX века в русской лирике (и, конечно, в литературе и культуре в целом) совершается становление национального самосознания. Но необходимо понять, что этот процесс нераздельно связан со становлением самосознания *личности*. Видный современный исследователь западноевропейского Возрождения Р. И. Хлодовский пишет: «Национальное сознание возникает и развивается в эпоху Возрождения в тесной связи с личным. Лишь осознав себя членом определенной народности, личность в эпоху Возрождения оказывается в состоянии разорвать те путы, которые накладывало на нее рождение, профессия, место жительства, сословие, корпорация»⁵¹.

Говорить, собственно, нужно даже не в «связи», а о двух *сторонах* одного *единого* процесса. Пока человек осознает себя частицей ограниченной общности (областной, профессиональной, сословной), он не может стать подлинной личностью. Только соотнеся себя со всей *полнотой* национальной жизни, он становится полноценной личностью (воплощающей в себе полноту нации). Этот двуединый процесс и осуществляется в лирике Ломоносова и, на более высокой ступени, в лирическом творчестве Державина. Не следует забывать и еще об одной стороне дела, о которой шла речь выше, – выходе обретшей национальное сознание личности на мировую арену.

Это ярко выразилось, например, в замечательном творении Державина – оде «На Счастье», созданной в 1789 году, во время Великой французской революции, потрясшей мир. Державин взывает к своему *личному* «Счастью», ибо как раз в тот момент он был отстранен от должности тамбовского губернатора за разные «дерзости» и ждал суда. Державин с веселой иронией вспоминает, как «Счастье» благоволило ранее к нему:

...Бывало, ты меня к боярам
В любовь введешь: беру все даром,
На вексель, в долг без платежа;
Судьи, дьяки и прокуроры,
В передней про себя брюзжа,
Умильные мне мещут взоры.
И жаждут слова моего, —
А я всех мимо по паркету
Бегу, нос вздернув, к кабинету
И в грош не ставлю никого!..
...А ныне пятьдесят мне било;
Полет свой Счастье пременяло,
Без лат я горе-богатырь;
Прекрасный пол меня лишь бесит,
Амур без перьев – нетопырь,
Едва вспорхнет – и нос повесит.
Сокрылся и в игре мой клад:
Не страстны мной, как прежде, музы;

⁵¹ Хлодовский Р.П. Новый человек и зарождение новой литературы в эпоху Возрождения// Литература и новый человек. М., Изд-во АН СССР, 1963. С. 372.

Бояра понадули пузы,
И я у всех стал виноват.
Услышь, услышь меня, о Счастье!
И, солнце, как сквозь бурь ненастье,
Так на меня и ты взгляни;
Прошу, молю тебя умильно,
Мою ты участь премени...
...Но ах! как некая ты сфера
Иль легкий шар Монгольфьера⁵²,
Блистая в воздухе, летишь;
Вселенна длани простирает,
Зовет тебя – ты не глядишь...

Но это собственническое обращение к «Счастию» – только один пласт произведения. Державин в том же тоне обращается к «Счастию» России, к ее тогдашним военным и политическим успехам:

...В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,
На Тавре едешь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,
Коптишь голландцам колбасы...

Но и этого мало: Державин воплощает в своих стихах и состояние целого мира, потрясенного революцией. Он говорит «Счастию»:

Куда хребет свой обращаешь,
Там в пепел грады претворяешь,
Приводишь в страх богатырей;
Султанов заключаешь в клетку,
На казнь выводил королей;
Но если ты ж, хотя в издевку,
Ослабишь взор свой на кого, —
Раба творишь владыкой миру,
Наместо рубища порфиру
Ты возлагаешь на него...⁵³
...В те дни, как всё везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть и закон святой
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,

⁵² Братья Монгольфье только что поднялись впервые в небо на своем наполненном подогретым воздухом шаре.

⁵³ Позднее Державин отметил, что он предсказал здесь появление императора Наполеона.

Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут⁵⁴;
Как полюсы, меридианы,
Науки, музы, боги – пьяны,
Все скачут, пляшут и поют.
В те дни, как всюду ерихонцы⁵⁵
Не сеют, но лишь жнут червонцы,
Их денег куры не клюют;
Как вкус и нравы распестрились,
Весь мир стал полосатый шут;
Мартышки в воздухе явились,
По свету светят фонари,
Витийствуют уранги⁵⁶ в школах;
На пышных карточных престолах
Сидят мишурные цари...

Эта яркая картина своего рода *мирового карнавала* набросана с истинно русским размахом и удалью. Стихи неразрывно соединяют в себе всемирное, национальное и личное начала, рельефно воплощая ренессансную природу державинской лирики. В них осуществился двуединый пафос поднимающейся нации и становящейся личности.

Решусь сказать, что характерные для многих литературоведческих работ рассуждения о классицизме, просветительстве, сентиментализме и т. д. сильно затрудняют восприятие русской лирики XVIII века. Я убежден, что поверхностные схемы мешают увидеть главное – неразрывно взаимосвязанный рост национального и личностного самосознания, воплотившийся в творчестве Ломоносова и Державина – этих, безусловно, великих лирических поэтов, – а также в лирике Василия Тредиаковского (1703–1769), Александра Сумарокова (1718–1777), Михаила Хераскова (1733–1807), Александра Радищева (1749–1802), Николая Карамзина (1766–1826) и целого ряда менее известных авторов.

Уже говорилось о том, что лирика XVIII века предстает перед нами как явление архаическое, так сказать, доисторическое, ибо мы живем в послепушкинской эстетической эре. Но тем не менее лирическое наследие XVIII столетия воспринималось бы проще и легче, если бы каждый понимал его как живую историю становления нации и личности.

В 1728 году Василий Тредиаковский, испытав двухлетнюю разлуку с родиной, пишет свои «Стихи похвальные России»:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны...
...Россия мати! Свет мой безмерный!
Позволь то, чадо прошу твой верный,
Ах, как сидишь ты на троне красно!
Небо Российску ты Солнце ясно!..
...Чем ты, Россия, неизобильна?
Где ты, Россия, не была сильна?
Сокровище всех добр ты едина!
Всегда богата, славе причина...

⁵⁴ «Пунтируют», «трантелево» – карточные термины.

⁵⁵ Чиновники-взяточники.

⁵⁶ *Мартышки* – Державин называет так масонов-мартинистов; *уранги* – орангутанги.

...Окончу на флейте стихи печальны.
Зря на Россию чрез страны дальны,
Сто мне языков надобно б было
Прославить все то, что в тебе мило!

В этих безыскусных стихах – кстати, еще силлабических по своему строению – впервые, быть может, выступает то единство личностного и национального, которое составляет основу ренессансной лирики. Здесь невозможно проследить дальнейшее развитие этой стихии через весь XVIII век. Хочу только сказать, что русская лирика XVIII века открывает чуткому и упорному читателю настоящие сокровища.

Надо прямо сказать, что наследие этой эпохи почти неизвестно современным поэтам и читателям; оно явно недостаточно знакомо даже самым дотошным литературоведам. Конечно, фигуры наиболее знаменитых поэтов XVIII века мы видим довольно отчетливо. Но целый ряд исключительно интересных явлений эпохи как бы вообще не существует для нас.

Я имею в виду прежде всего почти никому не известную поэзию Ивана Баркова, Николая Львова, Петра Словцова⁵⁷. А ведь поэзия каждой эпохи представляет собой определенную художественную целостность, вне которой невозможно глубоко понять и даже просто воспринять *отдельные* явления. Так, без насквозь «раблезианской», карнавальной поэзии Баркова нельзя по-настоящему освоить тесно связанную с ней поэзию Ломоносова и Державина (последний неотделим и от Львова), а без творчества Словцова трудно оценить роль и смысл поэзии Радищева.

Но главная наша беда заключается в том, что поэзия XVIII века в целом до сих пор как бы не открыта с собственно художественно-эстетической точки зрения. Мы, пользуясь определением Белинского, не «научились видеть прекрасное» в этой *доклассической* поэзии.

Между тем в ней есть такие эстетические ценности, которые не «вместила» в себя поэзия XIX века. Речь идет и об эстетике народной смеховой культуры (по терминологии Бахтина), и о своеобразном безмерном «космизме», и об особенной ораторской громогласности, и о многом другом.

Освоение поэтического наследия XVIII века способно не обычно расширить сами наши представления о возможностях отечественной поэзии, – хотя для этого, конечно, необходимо переступить за пределы эстетических идеалов, воспитанных в нас классикой.

Лишь недавно была впервые опубликована созданная двести с лишним лет назад «Ода кулашному бойцу» Ивана Баркова, которая поражает своим раблезианским размахом:

Гудок, не лиру принимаю,
В кабак входя, не на Парнас;
Кричу и глотку раздираю,
С бурлаками внося мой глас...
...Тряхнем сыру землю с горами,
Тряхнем сине море!..
...Хмельную рожу, забияку,
Драча всесветна, пройдака,
Борца, бойца пою, пиваку,
Широкоплеча бурлака!..
... Хлебнул вина, разверзлась глотка,
Вознесся голос до небес,

⁵⁷ Имеется лишь одна серьезная работа о творчестве Баркова (Макогоненко Г. Враг парнасских уз. – Русская литература, 1964, № 4. С. 136–148); о поэзии Львова и Словцова, по сути дела, вообще ничего не написано!

Ревет во мне хмельная водка,
Шумит дубрава, воеет лес,
Трепещет твердь, и бездна бьется,
Далече вихрь в полях несется... —

и т. д.⁵⁸

Но в поэзии XVIII века есть и прямо противоположный размах – размах возвышенного и философски-серьезного смысла. Таковы, например, стихи сибиряка Петра Словцова⁵⁹, созданные вскоре после Великой французской революции:

Вы ль, дымящиеся Чингис-ханы,
Нам поведаете свои дела?
Ах, не вы ль, как пышущи вулканы,
Изрыгали жупел на поля?
Пламя с дымом било вверх клубами,
Рдяна лава пенилась валами;
Ныне ж – вы потухли над землей.
Ныне, мню, над вашими гробами
Красны заревы стоят столбами;
Древность! С именем их прах развей!
Прах развей! – но буде кость злодеев
Не умякнет под земным пластом,
Буде прах под грузом мавзолеев
Не смешится с илом и песком?
Праздны черепы, сии избытки,
Мать-земля расплавит в новы слитки:
Внутри ее зиянии, где погряз
Геркулан со знамя и щитами,
Лиссабон с хоругвью и крестами,
Плавится людей оседших связь...
...Знай – один лишь разум просвещенный
В поздних переломится веках!
Хоть над жизнью гениев почтенных
Тучи расстилались в облаках,
Тучи, град и дождь на них лиющи,
Но по смерти их, над темной кущей,
Над которой буря пролилась,
Мирна радуга для них явилась,
Половиной в древность наклонилась,
А другой – в потомстве оперлась...

⁵⁸ См.: Поэты XVIII века. В 2 т. Т. 1. Л., «Советский писатель», 1972. С. 164–172.

⁵⁹ Отмечу, что имени его нет даже в литературных энциклопедиях...

«Семейная хроника» С. Т. Аксакова

Итак, выше в той или иной мере очерчен многовековой путь русской поэзии. Обратимся теперь к великолепному творению отечественной прозы, создатель которого, кстати сказать, превосходно знал поэзию, славился своей проникновенной декламацией ее произведений. Да и начал он свой литературный путь как поэт. Впрочем, на первой стадии развития классической русской прозы это было словно бы необходимостью. Чуть ли не все первосоздатели этой прозы, вступившие в литературу в 1810-1830-х годах, – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев – начинали как поэты... Но обратимся к «Семейной хронике» Сергея Аксакова, которую с определенной точки зрения можно считать истоком классической русской прозы.

Трудно, пожалуй, подобрать более «прозаическое» и непритязательное название для литературного произведения: попросту, мол, последовательное изложение фактов жизни семьи... И заглавие, и начальные страницы аксаковской книги явно не могут остро заинтересовать и захватить души читателей; вероятно, именно потому очень многие из тех, кто вообще-то знает об этой книге (ну как же, Аксаков, Абрамцево, «Семейная хроника» – все это известно всем...), на самом деле ее не прочитали, не *пережили*, и их сознание не обдает этим бесценным сокровищем...

Впрочем, если задуматься основательнее, приходишь к выводу, что творчество Аксакова все же существует в душе каждого, кто знаком с миром русской прозы в целом (хотя и не читал «Семейную хронику»), ибо в том или ином смысле, в той или иной мере творческие уроки Аксакова восприняли и Пушкин, и Гоголь, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский. «Семейная хроника» – это своего рода *сердцевинное* явление отечественной литературы, животворные токи которого пронизывают ее всю целиком.

Разумеется, мне могут возразить: ведь «Семейная хроника» вышла в свет в 1856 году, гораздо позже гибели Пушкина и даже после кончины Гоголя! О каком же восприятии уроков может идти речь? Однако Аксаков начал *создавать* свою «Хронику» намного раньше, чем она явилась в виде *книги*, – не позднее 1820-х годов (в 1821 году Сергею Тимофеевичу исполнилось уже тридцать лет). А в конце 1833 года в одном из лучших тогдашних альманахов «Денница» было опубликовано – без имени автора – лаконичное произведение Аксакова «Буря», которое в сущности представляло собой как бы набросок к «Семейной хронике» (хотя и не вошедший в известный нам текст будущей книги). Один из рецензентов альманаха сразу же высказал предположение, что «Буря» – «отрывок из романа или повести» и что, если это действительно так, он «поздравляет публику с художественным произведением». И давно установлено, что аксаковский «Буря» оказал существенное воздействие на главное пушкинское творение в прозе – «Капитанскую дочку» (1836), к работе над которой Александр Сергеевич приступил как раз в 1833 году. Но Аксаков не только публиковал наброски и фрагменты будущей книги: он постоянно *рассказывал* свою «Хронику», творил ее устно перед многими и разными слушателями. И близкий его друг Гоголь (которого Аксаков, познакомившись с ним еще в 1832 году, первый признал великим писателем) просил и даже *требовал* записать эти рассказы; он, в частности, уверял, что без аксаковской «Хроники» не сможет завершить «Мертвые души»!.. Широко распространено, правда, противоположное мнение, согласно которому именно творчество Гоголя «пробудило» писателя в Аксакове и во многом на него повлияло. Однако едва ли эта точка зрения основательна. Очень выразительны воспоминания друга сыновей Аксакова, впоследствии выдающегося общественного деятеля и мыслителя Юрия Самарина о том, «с каким напряженным вниманием, уставив в него глаза, Гоголь по целым вечерам вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и тамошней жизни. Он упивался ими, и на лице его

видно было такое глубокое наслаждение, которого он и сам не в состоянии был бы выразить словами. Гоголь пристал к Сергею Тимофеевичу и потребовал от него, чтобы он взялся за перо... Сначала Сергей Тимофеевич об этом и слышать не хотел, даже обижался; потом мало-помалу Гоголю удалось его раззадорить...».

В 1840 году Аксаков действительно взялся за перо и *записал* начало «Семейной хроники». Но далее двух десятков страниц он не пошел, да и собрался опубликовать их только через шесть лет...

Это нежелание *записать* едва ли объяснялось недостаточной зрелостью, выношенностью складывавшейся в устном исполнении книги. Главная причина состояла в том, что Сергей Тимофеевич долгие годы слишком предан был иной деятельности, которая воплощалась в исключительно глубоком и полном *общении* с людьми – общении, имевшем отнюдь не только личное, но и непосредственно *историческое* значение. Сама семья Сергея Тимофеевича являла собой целую общину – четырнадцать (!) детей, из которых не один стал подлинно замечательным человеком. Еще в ранние свои годы Аксаков был молодым другом корифея русской поэзии XVIII века Державина, которому он исполнял его произведения так, что поэт написал: «Себя я слышу в первый раз». Был близок Аксаков и с великими актерами Мочаловым и Щепкиным, и чуть ли не со всеми виднейшими общественными деятелями и мыслителями России 1830-1840-х годов, которые постоянно собирались в его доме (притом не только «славянофилы», к которым принадлежали его сыновья Константин и Иван, но и «западники» Герцен, Грановский, Белинский и др.). Вообще трудно даже перечислить людей, с которыми плодотворно общался и которых так или иначе *связывал* друг с другом Сергей Тимофеевич Аксаков; отсылаю читателей к превосходному жизнеописанию Аксакова, изданному в 1987 году Михаилом Лобановым.

Все это целиком поглощало его жизнь, и только на шестом десятке, подавленный тяжелой болезнью глаз, почти лишившей его зрения, Аксаков отдался писанию – собственно говоря, даже не писанию (он уже при своей полуслепоте не мог и писать), а диктованию любимой дочери Вере Сергеевне. В конце концов так была продиктована Аксаковым и «Семейная хроника», и это убедительно подтверждает представление, согласно которому книга возникла и сложилась в устном бытии задолго до того, как она была записана, – сложилась и нашла высшего ценителя в лице самого Гоголя!

Поэтому и можно утверждать, что «Семейная хроника» – *первая* по времени возникновения книга великой русской прозы XIX столетия, родившаяся, в сущности, ранее «Героя нашего времени», «Мертвых душ» и даже «Капитанской дочки».

Аксаков был почти на два десятка лет старше Гоголя, он явился на свет еще в Екатерининский век; но, пожалуй, даже важнее другое: Сергей Тимофеевич был проникновенно и полно погружен в родовые, семейные предания, он словно сам пережил отцовскую и, далее, дедовскую (начавшуюся еще в первой половине XVIII века) жизнь. И хотя «Семейная хроника» стала реальной книгой только в середине XIX века, читатели соприкасались в ней с жизнью столетней давности, и притом перед ними был не «исторический роман» (который всегда представляет собой все же «имитацию» прошлого), но доподлинное воплощение предшествующего, «*другого*» века русского бытия...

Поэтому Михаил Пришвин, исключительно высоко ценивший «Семейную хроника», не без оснований писал еще через столетие, в 1950 году: «Аксаков – это наш Гомер... Аксаков, как Гомер, остается где-то в Золотом веке русского прошлого». Речь здесь идет не о каком-либо сходстве «Семейной хроники» с древними поэмами о Троянской войне, а об ее *первородности*, о том, что аксаковское творение открывает нам бытие, предшествовавшее той русской жизни, которая являлась во всех других классических книгах России.

Первородство воплотилось – и это, конечно, закономерно – не только в «содержании», но и в самой форме, в художественном стиле «Семейной хроники». Тот же Пришвин, отме-

чая, что он «доволен... простотой, правдивостью и ясностью» своего нового произведения, выразил надежду: «Приближаюсь понемногу к Аксакову, но (и это очень существенное „но“! – В. К.) у него дается простота его правдой, а у меня искусством». Еще Пришвин замечательно сказал, что у Аксакова «богоданная книга, а моя – самодельная», – тут же, впрочем, «утешив» себя шутивным соображением: «...но Бог, конечно, не лишен любопытства и мою книгу прочтет с интересом, тогда как аксаковскую – как Свою – читать Ему незачем...».

Определение «богоданная» особенно уместно потому, что в то время, когда Аксаков начал создавать «Семейную хронику», *великая русская проза* еще не существовала (за исключением «Жития» Аввакума, известного тогда лишь в кругу старообрядцев), и как бы только сам Бог мог дать ей первотолчок, подарив Слово Аксакову...

Богоданность «Семейной хроники» покоряла. Эту книгу всецело приняли славянофил Хомяков и западник Анненков, революционер Чернышевский и крайний консерватор Константин Леонтьев, «почвенник» Аполлон Григорьев и «космополит» Василий Боткин... Стоит напомнить, что тогда, во второй половине XIX века, не единожды «развенчивали» самого Пушкина (как Писарев) и Гоголя (Леонтьев).

Тургенев писал о «Семейной хронике»: «Вот он, настоящий тон и стиль, вот русская жизнь, вот задатки будущего русского романа». И можно с полным правом сказать, что аксаковская книга стала своего рода прообразом величайших «семейных» романов – «Войны и мира» и «Анны Карениной», «Подростка» и «Братьев Карамазовых».

Словом, перед нами книга удивительной судьбы, книга вроде бы совсем простая, прозрачная, открытая и в то же время таинственная и сокровенная.

* * *

«Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей Московских...» Так начинается «Семейная хроника», и для нынешних читателей истинный смысл этого «тесно стало» не очень уж ясен; он выявляется только по мере углубления в книгу. Между тем для современников Аксакова здесь не нужны были дальнейшие разъяснения. Все еще помнили, как примерно с середины XVIII века началось громадное по своим масштабам освоение *восточных* земель России.

Если население России в целом увеличилось в течение XVIII – первой половины XIX века в три с половиной раза, то население Сибири – в 9 раз, а Южного Приуралья (куда как раз и отправился симбирский дедушка Аксакова) – в 12 раз! Это мощное движение людей и стало подосновой содержания «Семейной хроники».

Вскоре же после ее издания книга оказалась в Лондоне, в руках Александра Герцена, который уже десятый год находился в эмиграции. Он был восхищен «Семейной хроникой», назвал ее «огромной важности книгой» и способствовал ее переводам на немецкий и английский языки. В 1857 году в статье, представлявшей собой своего рода «открытое письмо» Тургеневу (имя его, правда, не было названо, чтобы не «компрометировать» его связь с эмигрантом), Герцен размышлял об аксаковской книге: «Читая летопись семейства Багровых (то есть Аксаковых. – В. К.), я был поражен сходством старика, переселившегося в Уфимскую губернию, с „сеттлерами“ (английское „поселенцы“, „колонисты“. – В. К.), переселяющимися из Нью-Йорка куда-нибудь в Висконсин или в Иллинойс. – В. К.). Совершенно новая расчистка нежилых мест и обращение их на хлебопашество и гражданскую жизнь. Когда Багров сзывает со всех сторон народ засыпать плотину для мельницы, когда соседи с песнями несут землю, и он первый торжественно проходит по побежденной реке, так и кажется, что читаешь Фенимора Купера или Вашингтона Ирвинга. А ведь это всего век тому назад... В Вятке в мое время (Герцен жил там в середине 1830-х гг. – В. К.) еще

трудно было удержать крестьян, чтобы они не переселялись... земля для них все еще казалась общим достоянием».

Однако сходство русских переселенцев с американскими сеттлерами предстает в целостном контексте герценовской статьи все же как чисто внешнее сходство. Сам Герцен недвусмысленно утверждает: «Россия расширяется по другому закону, чем Америка; оттого что она не колония, не наплыв, не нашествие, а *самобытный мир*, идущий во все стороны... Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собою все; каждый шаг, приобретенный ими, – шаг, потерянный индейцами... Америка как переселение не представляет новых элементов, это дальнейшее развитие протестантской Европы, освобожденной от исторического быта и приведенной в иные условия жизни... Россия, напротив, является совсем особенным миром, с *своим* естественным бытом, с своим физиологическим характером, ни европейским, ни азиатским». Характер этот воплощается «в естественной непосредственности нашего сельского быта, в шатких и неустоявшихся экономических и юридических понятиях, в смутном праве собственности, в отсутствии мещанства и в необычайной усвоимости чужого» (эти определения Герцен дает как бы с точки зрения европейцев).

Именно это с изумительной рельефностью и полнотой и воссоздано в «Семейной хронике». «Переселяющаяся» Россия предстает именно как расширяющийся самобытный мир, который не подавляет осваиваемые края, но собирает их в «идушую во все стороны» целостность, гибко принаравливаясь к их особенностям и создавая не европейский и не азиатский, а – Герцен еще не добрался до этого понятия – *евразийский мир*.

Герцена едва ли уместно заподозрить в «идеализации» России и, в частности, России, предстающей в аксаковской книге. Впрочем, ныне в очередной раз стало модным изображать русских жестокими и даже убийственными «колониалистами» по отношению к другим народам России, в том числе и к башкирам, издавна обитавшим в том краю, куда переселился Степан Багров – Аксаков.

Здесь нет места оспаривать подобные обвинения; сошлюсь только на две беспристрастные цифры. Количество индейцев в США в течение XIX столетия *сократилось* не менее чем в 5 раз (см., например, книгу: *Ди Браун. Схороните мое сердце у Вун-дед-Ни. История американского Запада, рассказанная индейцами*. М., 1984, с. 20), а башкирский народ за то же столетие, напротив, в 5 раз *вырос* (см.: *Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав*. М., 1992, с. 194); важно еще добавить, что количество *русских* в том же XIX веке увеличилось всего в два с половиной раза.

Конечно, в истории освоения восточных земель были свои острейшие противоречия и тяготы. Так, башкирский народ вынужден был в XIX веке совершить трудный, нередко мучительный переход от прежней полукочевой жизни к оседлому земледелию. И Аксаков, кстати сказать, вовсе не идеализирует положение; не раз идет речь в «Семейной хронике» о, пользуясь его выражением, «надуванье добродушных башкирцев».

Вместе с тем, воссоздавая досконально известную ему реальную ситуацию, Аксаков – явно без какого-либо специального умысла – показывает, что чреватое бедами «противоречие» существовало не между *русскими и башкирами*, а между уже привыкшими к владению землей людьми *разных* национальностей и коренным населением, которое в сущности не понимало самого «принципа» землевладения, ибо до тех пор вольно кочевало по «ничейному» земельному пространству. В «Семейной хронике» рассказывается, например, о том, как «перешло огромное количество земель Оренбургской губернии (где вначале было только башкирское кочевое население. – В. К.) в собственность татар, мещеряков, чувашей, мордвы и других поселян».

Мир, складывавшийся по мере освоения новых земель (о котором размышлял Герцен), был в точном смысле слова «евразийским», и переселявшиеся в Приуралье русские

не только приносили сюда свое, но и по доброй воле вбирали в себя местную «азиатскую» стихию.

Один из героев «Семейной хроники», Иван Петрович Каратаев, «столбовой русский дворянин», с юных лет поселившийся в этих местах и впоследствии женившийся на дочери Степана Багрова Александре, «вел жизнь самобытную: большую часть лета проводил он, разъезжая в гости по башкирским кочевьям... по-башкирски говорил как башкирец; сидел верхом на лошади и не слезал с нее по целым дням, как башкирец, даже ноги у него были колесом, как у башкирца; стрелял из лука, разбивая стрелой яйцо на дальнем расстоянии, как истинный башкирец; остальное время года жил он в каком-то чулане с печью... в жестокие морозы, прикрытый ергаком (тулуп шерстью наружу. – В. К.), насвистывая башкирские песни...».

Это, конечно, своего рода крайний случай, но из «Семейной хроники» в целом ясно, что собственно *национального* противоречия между русскими и башкирами не было, хотя, конечно, возникали – как и в любых условиях – те или иные *социальные* конфликты.

* * *

В «Семейной хронике» перед нами так или иначе предстает непосредственно *историческая* реальность эпохи. Упоминается, например, что семья Багровых-Аксаковых вынуждена была бежать из своего поместья, дабы не оказаться в руках Емельяна Пугачева; что сын Степана Багрова Алексей (отец автора) служил ординарцем у великого А. В. Суворова, а его будущая жена, урожденная Зубина (Зубова), вела постоянную переписку с А. Ф. Аничковым – ближайшим сподвижником прославленного «просветителя» Н. И. Новикова.

И все же книга посвящена именно *семейной* жизни, и, завершив свое повествование, Аксаков так обратился к воссозданным им людям: «Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще... но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь... исполнена поэзии... вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания... Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!»

Так заканчивается «Семейная хроника», но эти слова вовсе не означают, что в книге вообще нет *суда* над героями: суд совершается, и он иногда беспощаден; как известно, многие *родственники* Аксакова выражали резкое недовольство его книгой. Но в этом суде действительно нет ни пристрастности, ни легкомысленных приговоров. А кроме того, книга проникнута (хотя это никак не отменяет «суда») истинно народной – православно-народной – темой *прощения*. Достоевский, не раз восторженно отзывавшийся об Аксакове, видел в его творчестве воплощение «милосердия и всепрощения и широкости *взгляда народного*» (рядка самого Достоевского).

В уже цитированном заключении «Семейной хроники» предельно просто говорится: «Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и доброе и худое!» Столь «прямолинейно» обозначенное здесь соединение доброго и худого, светлого и темного предстает в самом художественном мире «Семейной хроники» как неразрешимая загадочность человеческих душ. И между прочим, в образах этих русских людей XVIII века без особого труда можно разглядеть ту поражающую своими «крайностями» стихию, которая – конечно, неизмеримо более развернуто и осознанно – явлена в героях Достоевского.

Дочь Аксакова Вера Сергеевна записала высказывание Юрия Самарина о «Семейной хронике». «Сергей Тимофеевич, – сказал он, – представляя человека, передавая все его впе-

чатления, его сердце, не идет путем разложения и анализа, но сохраняет его в целости, передает его в полноте, как он есть, а между тем вы видите все подробности, и от этого такая свежесть, цельность, жизнь во всем». «Это правда, – заметила от себя В. С. Аксакова, – и совершенно противоположное встречаем мы во всех писателях нашего времени... все аналитики».

Мысль, без сомнения, верна, но суть дела не только – да и не столько – в писательском своеобразии Аксакова, но и в своеобразии самого «предмета»: сами люди XVIII века были гораздо более «цельны», и «анализ» при их воссоздании был бы, строго говоря, неуместен (хотя бы потому, что они сами не хотели или не умели себя анализировать...).

...Среди героев «Семейной хроники» выделяется Михаил Максимович Куролесов (в реальности – Куроедов), из корыстных побуждений женившийся на совсем еще юной девушке – богатой двоюродной сестре Степана Багрова Прасковье (в действительности Надежде Ивановне Аксаковой). Этот прямо-таки одержимый бесом человек под благовидным обликом исправного офицера (и даже сподвижника самого Суворова) и рачительного помещика скрывает от семьи черную натуру развратника, насильника и прямого садиста. В конце концов он принимает смерть от рук своих соучастников-лакеев.

И тут происходит нечто неожиданное. Вся семья, узнав о кончине Куролесова, говорит: «Слава Богу». Однако жена, которую он, после того как она его разоблачила, жестоко избил и потребовал отписать на него все ее имение, угрожая в противном случае уморить ее в подвале, при известии о его смерти «пришла в совершенное отчаяние». И впоследствии объяснила это так: «...я любила его четырнадцать лет и не могла разлюбить в один месяц, хотя узнала, какого страшного человека я любила; а главное, я сокрушалась об его душе: он так умер, что не успел покаяться...».

И еще Аксаков поведал, что через много лет он «нашел в крестьянах свежую благодарную память об управлении Михаила Максимовича (Куролесова. – В. К.), потому что чувствовали постоянную пользу многих его учреждений; забыли его жестокость, от которой страдали преимущественно дворяне, но помнили умение отличать правого от виновного, работающего от ленивого, совершенное знание крестьянских нужд и всегда готовую помощь».

В цитированной выше статье Герцена, где он на основе «Семейной хроники» глубоко размышляет о судьбе России, есть место, которое, возможно, навеяно именно этой подробностью повествования о Куролесове: «...народы прощают многое – варварство Петра и разврат Екатерины, прощают насилия и злодеяния, если они только чувствуют силу и бодрость мысли. Но непонимание воспользоваться обстоятельствами, схватить их в свои руки, имея неограниченную власть, – ни народ, ни история никогда не прощают, какое там доброе сердце ни имей».

И этот нелегкий смысл всюду просвечивает в «Семейной хронике» – особенно на страницах, посвященных самому Степану Багрову, способному проявить сокрушительный гнев и даже прямую жестокость, – хотя, конечно, по своей человеческой сути не имеющему ничего общего с Куролесовым.

Но вспомним еще раз самую первую фразу «Семейной хроники»: «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей Московских...»

Да, *тесно* в родовой отчине да еще и на приволжском просторе... – и Степан Багров уходит почти на полтыщи верст за Волгу. В определенном смысле всем основным героям как будто «тесно». Явно тесно Каратаеву в родном русском быту – и он вживается в кочевой башкирский. Тесно и «деревенскому» по воспитанию и «образованию» (именно в кавычках) Алексею Багрову – и он, «рубя дерево не по себе», с муками добывается руки высокопросвещенной (по тем временам) и «светской» дочери товарища (то есть заместителя) уфимского

наместника. Тесно под гостеприимным кровом ее двоюродного брата Степана Михайловича и совсем еще юной, четырнадцатилетней Прасковье (Надежде) – и она, обманув брата, венчается со страшным Куролесовым... Но, по-видимому, «тесно» в добропорядочной жизни и самому Куролесову...

Словом, как скажет у Достоевского Дмитрий Карамазов, «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил...». «Широта» эта то и дело предстает в «Семейной хронике», где персонажей очень много и очерчены они выразительнейшими – хотя обычно немногими и скупыми – мазками.

Чего стоит, к примеру, Илларион Кальпинский, «умный и начитанный, вышедший из простолюдинов (говорили, что он из мордвы), дослужившийся до чина надворного советника и женившийся по расчету на дочери деревенского помещика и старинного дворянина... он предался хозяйству и жадно копил деньги». Но этого оказалось недостаточно... «Кальпинский имел претензию быть вольнодумцем и философом; его звали вольтерьянцем...» Высокий – особенно для вышедшего из низов – чин (надворный советник соответствовал подполковнику), поместье, богатство и – на тебе! – еще и «вольтерьянство». И не сузишь этого Кальпинского...

* * *

В «Семейной хронике» как бы содержатся семена или, точнее, *завязи* всей будущей русской прозы. И охарактеризовать это произведение в целом, в его многообразных сторонах и гранях – слишком объемная задача. Но нельзя в наши дни не коснуться одной проходящей через эту хронику темы – *экологической*.

Многим это, вероятно, покажется неожиданным: мы привыкли думать, что экологические проблемы возникли лишь в последние десятилетия. На самом деле в наше время эти проблемы оказались в центре внимания потому, что речь идет уже, как говорится, о жизни и смерти и человечества, и самой Земли, но наиболее чуткие люди еще и 150–200 лет назад осознавали драматический и – в будущем – роковой итог чисто потребительского отношения к природе. И С. Т. Аксаков был здесь одним из наиболее прозорливых:

Чудесный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!..

...

И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя.
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!
Помнут луга, порубят лес.
Взмутят в водах лазурь небес!
И горы соляных кристаллов
По тузлукам⁶⁰ твоим найдут,
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут...

...

И в глубь лесов, и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!

⁶⁰ Тузлук – соленый родник.

Строки эти были написаны Аксаковым в мае 1830 года и в 1831-м появились в журнале «Телескоп», но вошли они и в изданную через четверть века «Семейную хронику». Это лишний раз подтверждает, что главное аксаковское творение складывалось намного раньше его явления в виде книги.

Экологическая тема проходит через всю «Хронику» и подчас перерастает в горькое человеческое самоосуждение. Так, выясняется, что одной из причин переселения Багровых из Симбирской губернии к Уралу явилась безобразная эксплуатация природы:

«Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и, несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощали землю, – переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд... Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале... Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекающей версты за три до селения из-под Моховых озер... Но человек – заклятый и торжествующий изменитель лица природы!.. Моховые озера мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса... речка Майна поникла вверх и уже выходит из земли несколько верст ниже селения... озеро превратилось в грязную вонючую лужу...».

И вот люди отсюда уходят на новые земли... «Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа! – не без глубокой горечи восклицает Аксаков. – Нет, ты уж не та теперь, не та, какую даже и я зазнал тебя – свежую, цветущую, неизмятую отовсюду набежавшим разнородным народонаселением!»

Тема, которая сегодня должна более чем что-либо волновать и заботить любого из нас, предстает как драматический подтекст всего аксаковского повествования. И угадываешь – хотя это и не высказано прямо, – что сами противоречивые натуры героев «Хроники», переплетение в их характерах темного и светлого, уходят корнями в бездумное и вопиюще *неблагодарное* «пользование» природой.

Тема эта так глубоко и остро воплощена Аксаковым, что, пожалуй, лишь в литературе XX века мы найдем достойных его продолжателей. И здесь уместно напомнить о «богоданности» аксаковской прозы, о том, что его искусство как бы дано было ему *свыше* – и потому это даже и не искусство, а нечто выше искусства...

* * *

Наследие Сергея Тимофеевича Аксакова, конечно, не сводится к «Семейной хронике». Изумительна его книга, обращенная к юному читателю, но столь же плодотворная для зрелого – «Детские годы Багрова-внука». Собственно говоря, это прямое *продолжение* «Семейной хроники», – и все же перед нами вполне особенная книга, о которой надо говорить отдельно.

Уникальны аксаковские «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», хотя по-настоящему оценить их могут, вероятно, те, кто сам рыбачил и охотился. Наконец, нельзя представить себе историю отечественной культуры без оставленных нам Сергеем Тимофеевичем «Литературных и театральных воспоминаний» и «Истории моего знакомства с Гоголем» (к великому сожалению, незавершенной).

В заключение стоит коснуться того, что называется *иерархией ценностей*. До недавнего времени Аксакова считали в общем и целом писателем второстепенным или, точнее, даже третьестепенным. Любопытно, что в самый момент появления «Семейной хроники»

она, напротив, была воспринята авторитетнейшими ценителями как высочайший образец прозы. Но вскоре началось бурное и плодоносное развитие русской прозы, и Аксаков был как бы заглушен и оттеснен целой плеядой получивших громкую известность писателей.

Однако теперь, по прошествии полутора столетий, становится все более ясным значение аксаковского творчества и прежде всего, конечно, «Семейной хроники», которая достойна стоять в «иерархии» сразу же вслед за творениями корифеев русской прозы – Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова или, может быть, даже в одном ряду с ними. А в самом конце жизни, в декабре 1858 года, Сергей Тимофеевич продиктовал явно давно сложившийся в его творческом сознании краткий – всего лишь трехстраничный – «Очерк зимнего дня» – о морозах дальнего 1813 года. Это поистине изумительное воплощение русской прозы, сопоставимое с любыми ее прекраснейшими страницами...

Пушкин и Чаадаев. К истории русского самосознания

Понимание творчества Поэта в его взаимосвязи с творчеством крупнейшего мыслителя эпохи имеет, как представляется, первостепенное или даже, пожалуй, исключительное, уникальное значение для понимания духовного развития России в целом. Правда, неопределимое значение этой «темы» выявляется только при условии осознания истинного смысла чаадаевской историософии (то есть философии истории), действительного характера эпохи, которую мы склонны называть «Пушкинской», и, наконец, реальных отношений двух ее великих деятелей. А надо прямо сказать, что все это либо недостаточно изучено, либо толкуется заведомо неверно. Поэтому нам придется обращаться ко многим – иногда кажущимся, может быть, уводящим в сторону – идеям и фактам.

В своей заслуженно чтимой «пушкинской» речи «О назначении поэта» (1921 г.) Александр Блок говорил, что «жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин – слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы».

Главный симптом «ослабления» культуры Блок видел в том, что «над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского... Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку». Ранее поэт написал о влиятельнейшем критике России: «Пусть Белинский был велик и прозорлив во многом; но... он, может быть, больше, чем кто-нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская интеллигенция покатила вниз по лестнице своих российских *западнических* надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больше – о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917–1918 годов».

Верна и глубока мысль о том, что пушкинская пора – «единственная культурная эпоха». Это было время *творения* культуры, а начиная с «роковых» 1840-х годов культуру все в большей степени стремятся превратить в орудие идеологической *борьбы* (хотя, конечно же, истинное культурное творчество продолжалось), что объяснялось в конечном счете неотвратимым приближением революции. Ведь поток испытывает воздействие близящегося водопада задолго до того, как ему, потоку, предстоит низвергнуться в бездну, и то же самое можно сказать о движении, о развитии России за много десятилетий до 1917-го и даже 1905 года.

«Критика» Пушкина (и всей культуры его поры) во имя *идеологии* крайне возмущала Блока, и в одной из своих статей он назвал Белинского – ни много ни мало – «*могильщиком*» русской культуры в ее высшем значении. Но вполне уместно упрекнуть поэта в том, что, отвергая идеологический экстремизм критика (недаром получившего прозвание – впрочем, давно опошлившееся – «неистовый Виссарион»), сам он впал здесь в аналогичную экстрему.

Однако главное даже не в этом. Ведь именно Блок сказал так выразительно о «роковых сороковых годах», и, следовательно, винить надо не Белинского, а, как говорится, «эпоху»... К нашему времени атмосфера «роковых сороковых» изучена значительно полнее, чем при жизни Блока, и ясно, например, что идеологическая «критика» Пушкина характерна вовсе не только для Белинского и деятелей его круга.

Сопоставляя Пушкина с Гёте, Белинский утверждал, что русский поэт «велик там, где он просто воплощает... свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов» – имелись в виду, понятно, самые существенные «вопросы», которые «решали» Гёте и другие крупнейшие поэты Запада. Но по сути дела точно такое же «приращение» Пушкина присуще (хотя этот факт не столь уж широко известен и поныне) идеологам противостоявшего Белинскому славянофильства. Так, соизмеряя Пушкина именно с тем же самым Гёте, Хомяков счел возможным утверждать, что русский поэт в отличие от

германского «не развил в себе высших духовных стремлений», что их «недоставало» в его «душе, слишком непостоянной и слабой».

Разумеется, Белинский и Хомяков исходили в своих «приговорах» Пушкину из совершенно разных оснований. Белинский полагал, что Пушкина фатально ограничивал, как он писал, «недостаток современного европейского образования» (хотя, конечно же, «европеизм» Пушкина был неизмеримо глубже и полнее, чем соответствующее «образование» самого Белинского), а Хомяков, напротив, усматривал в поэте прискорбную «недостаточность» русского национального духа.

Даже в творчестве Гёте, с которым они сопоставляли Пушкина, два идеолога выделяли существенно различные стороны. Для Белинского Гёте – один из «великих европейских поэтов», представитель имеющей всемирное значение цивилизации Запада (далеко-де превосходящей ограниченную узкими целями русскую), а для Хомякова – «высший представитель Германии», то есть полнокровный национальный поэт; в Пушкине же русский характер, по мнению Хомякова, «никогда не развивался вполне: он робко выглядывал из-под чужих форм не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя». Стоит упомянуть, что эти упреки Белинского (в недостатке европеизма) и Хомякова (в недостатке «русскости») были высказаны почти в одно время (первый – в 1844-м, второй – в 1845 году).

Более того: два противостоявших идеолога прямо и непосредственно «сталкивались» на Пушкине. Оценивая основанную на фольклорной образности пушкинскую балладу «Жених», Белинский писал, что «мир, так верно и ярко изображенный в ней... так тесен, мелок и немногословен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были однообразны, скучны и, наконец, пошлы...». Вскоре Хомяков не без гнева отметил этот «презрительный отзыв... об русской сказке и песне: в нем утверждали, – писал он, – что Пушкин... исчерпал все богатство нашей народной поэзии». Между тем, решительно возражал Хомяков, Пушкин, а вслед за ним и Лермонтов «даже не поняли вполне ее (русской народной поэзии. – В. К.) неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка».

Итак, наследие Пушкина в сороковых годах равно «атаковали» с двух противоположных сторон, и в этом выражался поистине роковой раскол русской мысли.

Правда, и ранее, в 1810-1830-х годах, имело место подобное раздвоение, но, во-первых, в нем не было непримиримости (так, в русле единой декабристской идеологии без особых конфликтов уживались, по сути дела, «западническая» и «славянофильская» линии), а во-вторых, оно, это раздвоение, почти не затрагивало *высшие* явления культуры.

При жизни Пушкина ему не противостоял (если брать это слово в его точном значении) ни один из наиболее значительных деятелей русской культуры – таких, как Жуковский, Боратынский⁶¹, Владимир Одоевский, Тютчев, Иван Киреевский, Кольцов, Гоголь и т. д.; все они, в частности, сотрудничали в пушкинском «Современнике». Имели место только отдельные предвестия будущего раскола – подчас, кстати сказать, весьма причудливые: в 1831 году Вяземский, например, с «западнических» позиций резко осудил стихотворения поэта «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», однако позднее Петр Андреевич оказался близким как раз славянофилам...

В послепушкинское же время раскол так или иначе проявляется на всех уровнях культуры и к тому же достигает нередко крайней остроты. Правда, через четыре с лишним десятилетия Достоевский провозгласил, притом (что закономерно) именно в своей «пушкин-

⁶¹ Как ни прискорбно, имя поэта нередко искажают. По случайным причинам (о коих трудно рассказать коротко) возникло ложное написание «Баратынский». Между тем в тщательно подготовленной поэтом последней его книге «Сумерки» он именовал себя Боратынским, а его душевный друг поэт Николай Коншин позднее засвидетельствовал, что «Боратынский всегда употреблял **о** и горячо всегда отстаивал честь этого **о**». Тем не менее некоторые лишенные должной ответственности редакторы и авторы еще и сегодня позволяют себе повторять случайную графическую неточность.

ской» речи: «О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение...», и тут же уточнил: «...хотя исторически и необходимое». По-видимому, Федор Михайлович полагал, что «необходимость» к 1880 году уже отпала; однако раскол, обозначившийся за восемь десятилетий до 1917 года, отнюдь не преодолен и поныне – через восемь десятилетий после революционного взрыва...

В речи Достоевского доказывалось, что в Пушкине еще не было «великого недоразумения», или, иначе говоря, раскола, – в чем, в частности, и выразилась его гениальность. Но, нисколько не умаляя пушкинский гений, следует все же сознавать, что речь должна идти и об общем характере самой породившей Поэта «единственной культурной эпохи».

Раскол, совершившийся в «роковых сороковых», нанес тяжкий ущерб всему духовному развитию России, – притом «великое недоразумение», которое столь наглядно выразилось в процитированных суждениях Белинского и Хомякова, в дальнейшем нарастало и обострялось. Ведь в конечном счете Белинский говорил лишь о том, что Пушкин не был западником (так сказать, «не дорос» до этого мировоззрения), а Хомяков – что поэт не стал славянофилом. И в данном случае оба идеолога, по сути дела, были совершенно правы...

Между тем позднее, по мере роста общенародного признания Пушкина, его упорно стремились представить в качестве заведомого западника, «европейца», или, напротив, – что, впрочем, бывало гораздо реже, ибо западническая идеология играла преобладающую роль, – превратить в славянофила.

Но поистине прискорбная участь постигла в условиях идеологического раскола творчество крупнейшего мыслителя пушкинской эпохи – Петра Яковлевича Чаадаева, который в общественном сознании был целиком и полностью превращен в «западника», даже в своего рода отца – основателя западничества. Правда, в этом в известной мере был повинен прежде всего сам мыслитель, опубликовавший в октябре 1836 года свое первое (из восьми) «философическое письмо», которое дало слишком много поводов для причисления его к «ненавистникам» России и безоговорочным поклонникам Запада.

Вскоре после появления в печати этого «письма», в конце 1836 года, Чаадаев, в сущности, выразил сожаление, что опубликовал, как он определил, «введение», чей истинный смысл должен был раскрыться «в труде, который остался неоконченным»; к тому же он так сказал об этой своей «вводной» статье: «Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в мыслях... было преувеличение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном великому народу... преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Однако эти авторские «поправки» были опубликованы в России лишь в 1913 году, когда давно сложившееся представление о Чаадаеве уже, так сказать, заостенело и никто не хотел его существенно изменять. Тем более что еще в 1884 году появилось в печати пушкинское послание Чаадаеву от 19 октября 1836 года (которое поэт, правда, не отправил адресату), где оспаривался ряд положений того самого «введения» и вроде бы подтверждалось мнение о «западничестве» Петра Яковлевича. Между прочим, Пушкин в этом своем послании давал понять, что чаадаевское «введение» (с его, по определению самого мыслителя, «нетерпеливостью», «резкостью», «преувеличением») не следовало публиковать в таком виде («...мне досадно, – писал Пушкин, – что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам»). Но о пушкинском послании еще пойдет речь; начать надо с вопроса о взаимоотношениях Пушкина и Чаадаева вообще, в целом.

Они познакомились в сентябре 1816 года и до ссылки поэта (май 1820) были в самом тесном общении. 9 апреля 1821 года, уже в Кишиневе, Пушкин, получив весточку от Чаадаева, писал о нем в своем дневнике: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя...» Один из близких приятелей Пушкина отметил, что в юности

поэт «естественно делался... с Чаадаевым мыслителем». И философ XX века С. Л. Франк был, очевидно, прав, утверждая, что Чаадаев «пробудил в нем (юном Пушкине. – В. К.) строй мыслей более глубокий, чем ходячее умонастроение французского просветительства» (которое тогда господствовало).

В том же 1821 году поэт в посвященном Чаадаеву стихотворении так определял его роль в своем развитии: «Ты был целителем моих душевных сил... Твой жар воспламенял к высокому любовь... Ты всегда мудрец, а иногда мечтатель...», а беседы с Чаадаевым назвал «пророческими спорами».

Через десять лет, в продолжение которых поэт и мыслитель в силу различных причин общались весьма редко и мало, Чаадаев, отправив Пушкину свои шестое и седьмое «философические письма», сетовал (в послании от 17 мая 1831 года): «Это – несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами (стоит напомнить, что друзья обращались на „вы“ только по-французски; по-русски они с первых лет знакомства были на „ты“, хотя Чаадаев был пятью годами старше. – В. К.). Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воспоследовало бы нечто полезное для нас и для других».

Пушкин так отвечал Чаадаеву (6 июля 1831 года): «...Мы продолжим наши беседы, начатые в свое время (в 1816 году. – В. К.) в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». О присланных Чаадаевым «философических письмах» Пушкин писал здесь же: «...изумительно по силе, истинности или красноречию... Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» (то есть поэту более по душе чаадаевские «образы», а не силлогизмы). Вместе с тем Пушкин отметил: «...я не всегда могу согласиться с вами».

Через пять лет в своем неотправленном письме Чаадаеву поэт высказал целый ряд «несогласий» с опубликованным первым «письмом» мыслителя. И это впоследствии побудило многих комментаторов достаточно резко противопоставлять поэта и мыслителя. Так, один из первых биографов Пушкина, близкий славянофилам П. И. Бартенев, публикуя polemическое послание поэта к Чаадаеву, утверждал, что оно «надолго останется убедительной апологией древней Руси и основных начал нашей жизни от навета недоброхотов» (то есть таких идеологов, как Чаадаев). Усвоенное П. И. Бартевым представление о принципиальном «западничестве» Чаадаева побудило его прийти к выводу, что взаимоотношения поэта и мыслителя в 1830-х годах якобы разладились и чаадаевским свидетельствам об его неизменной близости с Пушкиным не следует, как он выразился, «доверяться». Однако С. А. Соболевский, который постоянно общался с поэтом в 1833–1836 годах, решительно возразил Бартеву: «Вздор, Чаадаев был одним из лучших друзей Пушкина...»

Кстати сказать, сам Чаадаев видел, насколько отношение к нему Бартева диктуется славянофильской ориентацией последнего, и не без горечи писал об этом С. П. Шевыреву, многозначительно утверждая, что дружба с Пушкиным «принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было» (это, в сущности, одно из основных определений той «единственной культурной эпохи», о которой говорил Александр Блок).

* * *

Необходимо подробно рассмотреть сам вопрос о «западничестве» Чаадаева. Как уже сказано, изолированное восприятие его первого «письма» вроде бы давало основания для причисления мыслителя к западникам. Правда, в этом «письме» есть фраза о декабристском бунте, которая решительно противоречит такой квалификации: «...великий монарх (Александр I. – В. К.), приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от

края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой только одни дурные идеи и губительные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека».

Прямо-таки замечательно, что при второй публикации этого «письма» в 1860 году в Париже крайний западник И. С. Гагарин под давлением другого эмигранта, одного из главных идеологов декабризма Николая Тургенева, сделал в чаадаевском тексте «цензурные» изъятия. «Я по требованию Николая Ивановича, – признавался Гагарин, – вычеркнул „дурные идеи и роковые ошибки“ и напечатал». Впоследствии, в 1913 году, также поступил издатель первого в России собрания сочинений Чаадаева М. О. Гершензон.

Оба издателя явно никак не могли допустить, чтобы устами Чаадаева принесенное с Запада определялось как «дурное» и «губительное» («роковое»). А в позднейшей, 1960-х годов, книге о Чаадаеве утверждалось, что у России, согласно-де взглядам мыслителя, «есть только один путь – духовное сближение с Западом».

Так истолковывали чаадаевскую историософию уже в 1830-х годах и так продолжают «понимать» ее поныне. Никто не вдумался хотя бы в эти вот слова из этого самого первого «письма»:

«...Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того ни другого». Из этого положения будто бы следовало, что русским необходимо заняться усвоением «традиций» Запада; между тем мыслитель не без иронии писал далее о тех, кто склонен именно к такой «программе»: «Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся... мы можем себе усвоить?...»

Эти положения не получили развития в самом «писью», но в другом сочинении Чаадаева, написанном в 1835 году (то есть еще до опубликования первого «письма»), совершенно недвусмысленно сказано (притом слова эти развивают, конкретизируют то, что выражено в первом «писью»): «...нам нет дела до крутны Запада, ибо сами-то мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно в таком „решении“ суть, ядро западных утопий. – В. К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р.Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов... *Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое...* Тогда мы пойдем вперед». (Уместно напомнить, что то же самое убеждение было присуще и Пушкину, который писал, например: «Поймите же... что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы... Не говорите: *иначе нельзя было быть*». Последние слова выделены самим Пушкиным, возражавшим мнению о том, что все народы должны с необходимостью следовать по «западному» пути; естественно полагать, что это убеждение поэта сформировалось не без воздействия Чаадаева.)

Исходя из только что процитированных чаадаевских высказываний 1835 года, следует взглянуть и в его первое «писью». Там нет столь же ясного тезиса о «другом начале цивилизации», присутствующем в России, но вполне определенно сказано о бесплодности попыток «нагнать» Запад, – попыток, неизбежно сводящихся к пустому «подражанию» и «заимствованию»: «В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошедших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же... не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего

дня; мы как бы чужие для себя самих... Это естественное следствие культуры заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса».

Стоит отметить, что в опубликованном в 1836 году переводе первого «письма» заключительная фраза была достаточно верно передана так: «У нас нет развития собственного, самобытного...» Казалось бы, одно уже это высказывание должно было заставить задуматься об истинном смысле «программы» Чаадаева. Ведь он и в других местах своего первого «письма» выразил ту же мысль. Так, он написал, что его угнетает «положение», в силу которого русская мысль не останавливается «ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе одна за другой», и принимает участие «в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям» (я процитировал опять-таки перевод 1836 года). В другом своем сочинении, написанном еще в 1832 году (то есть за четыре года до появления в печати первого «письма»), но опубликованном впервые лишь в 1908 году, Чаадаев со всей определенностью утверждал: «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в нашем взгляде на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, вовсе не подчиняться воздействию других народов».

Согласитесь, что воистину нелепо хоть в каком-то смысле причислять к западникам мыслителя, выдвинувшего такую «программу». Но ведь и в «злополучном», как назвал его сам Чаадаев, первом «письме» было достаточно определенно сказано о «пороке» России: он состоит, по убеждению мыслителя, в том, что (см. выше) «у нас нет развития собственного, самобытного», а вовсе не в том, что мы не идем по пути Запада. Почему же этого никто не увидел?

Есть все основания утверждать, что читателями опубликованного в 1836 году «письма» была воспринята (и полностью заглушила подлинный его смысл) одна только предельно резкая, прямо-таки беспощадная *критика* положения в России, – критика, которую сочувственно или даже с восхищением встретили будущие западники и негодуяще, либо с прямыми проклятиями – будущие славянофилы.

«Опыт времен для нас не существует, – объявил Чаадаев, – века и поколения протекли для нас бесплодно... мы миру ничего не дали... мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» и т. д. и т. п.

Как ни странно, этого рода суждения Чаадаева до сего дня служат поводом для причисления мыслителя к западникам; между тем нет сомнения – особенно если исходить из смысла «письма» в целом, – что Чаадаев ведет здесь речь об отсутствии в России именно *собственной и самобытной* мысли, которая должна вырасти из «опыта веков и поколений» российского бытия, а не усвоена извне, с Запада.

С западниками Чаадаева «сближает» только очень «резкая» и очень «преувеличенная» (по позднему признанию самого мыслителя) критика положения в России. Однако при достаточно внимательном анализе существа дела выясняется, что перед нами весьма своеобразная критика. И прежде всего необходимо понять, что это в конечном счете критика не страны, называемой «Россия», а русского *самосознания*. Чаадаев усматривает в России отсутствие подлинной (имеющей, в частности, общечеловеческое значение) *мысли* (Россия – «пробел в интеллектуальном порядке»).

Помимо приведенных высказываний, именно об этом многократно заходит речь в первом «письме»: «...неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний»; «всем нам не

хватает какой-то устойчивости, какой-то логики»; «массы... не размышляют. Среди них имеется определенное число мыслителей, которые дают толчок коллективному сознанию нации (которое, замечу, и волнует Чаадаева прежде и более всего другого. – В. К.)... А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?...» и т. п.

* * *

Необходимо учитывать, что существуют словно бы два «феномена»: Чаадаев как автор первого «письма» (толкуемого в качестве беспощадного и безнадежного «приговора» России) и Чаадаев как личность, как человек в его цельности – человек, являвшийся ближайшим и едва ли не наиболее ценным другом Пушкина, обладавший наивысшей образованностью и культурой, умевший покорить, очаровать даже несогласных с ним. Так, самый страстный славянофил Хомяков говорил о Чаадаеве: «... Может быть, никому он не был так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце...».

Представление о Чаадаеве как о безусловно замечательном, принадлежащем к самой избранной русской «элите» человеке утвердилось рано и прочно. И тем, кто жаждал «проклинать» Россию, было чрезвычайно *выгодно* ссылаться на мнение *такого* человека.

Между тем, исходя из всей совокупности написанного Чаадаевым, невозможно оспорить, что в своей критике он имел в виду не Россию, а русскую *мысль* и, конечно, тот слой русских людей, который обладал возможностями для развития национальной мысли, то есть людей своего круга. Между прочим, об этом остроумно писал сразу после опубликования чаадаевского «письма» анонимный автор (как некоторые полагают, Хомяков): «... слова господина сочинителя (Чаадаева. – В. К.): „Где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто и когда думал за нас, кто думает в настоящее время?“ (цитируется первый, 1836 года, перевод „письма“. – В. К.) – сказаны им против собственного – в пользу общую – мышления. Он отрицает этим собственную свою мыслительную деятельность».

К сожалению, этот отклик был опубликован лишь в 1986 году – ровно через полтора столетия... В дальнейшем я еще буду приводить существенные доказательства в пользу того, что чаадаевская критика направлена в адрес именно русских «идеологов» и, значит, его самого; он ведь прямо писал: «Кто *из нас* когда-либо думал...», конечно же, включая в это «нас» (то есть весьма узкий тогда круг людей) самого себя.

В то же время Чаадаев, как говорится, знал себе цену и полагал (это ясно хотя бы из его писем Пушкину), что его мысль призвана стать первым реальным шагом к самосознанию России, которое должно иметь великое *всемирное* значение. Об этом свидетельствует и его переписка с одним из крупнейших западных мыслителей – Шеллингом. В 1832 году Чаадаев писал ему: «Затерянный в умственных пустынях моей страны, я долго полагал, что я один истоощаю свои силы... впоследствии я открыл, что весь мыслящий мир движется в том же направлении, и великим был для меня тот день, когда я сделал это открытие». Более того, Чаадаев «дерзал» заявить прославленному немецкому философу: «... мне будет позволено сказать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходиться в конце концов не туда, куда приходили вы».

Вынося «русскому уму» суровый приговор («мы. не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли; мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума»), Чаадаев имел в виду *прошлое*, а не свое время (и тем более не будущее). Он был убежден (о чем еще пойдет речь), что русский ум «дозрел» – в том числе или, пожалуй, прежде всего в нем самом, Чаадаеве, – до всемирной роли...

Мне могут возразить, что в «письме» есть «критика» не только русской мысли, но и самой русской истории, вызвавшая, в частности, возражения Пушкина; но к этой стороне дела мы еще вернемся. А прежде необходимо установить следующее. Если основываться не только на первом «письме» (как ни печально, многие из тех, кто рассуждает о Чаадаеве, ничего другого из его наследия и не знают!), становится совершенно ясно, что резкость, даже беспощадность критики русского самосознания имеет свое глубокое оправдание: Чаадаев, как уже сказано, исходил из того, что время истинного, зрелого становления этого самосознания настало, и именно поэтому так безоглядно обличал его «дефицит». Ведь и не было бы смысла настоятельно требовать от своих соотечественников такого свершения, для которого они в данный момент еще не созрели!..

Нет сомнения, что одним из главных (или даже самым главным) «показателей» зрелости русского самосознания явилось для Чаадаева творчество Пушкина. Весной 1829 года (то есть во время работы над своим первым «письмом», завершённой 1 декабря этого года) Чаадаев отправил поэту послание, в котором, называя его «гениальным человеком», призывал: «...погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей (то есть „гениальной“). – В. К.). Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг» (слово «заблудившейся» имеет в виду, надо полагать, именно недостаток национального самосознания).

Через два года, в 1831-м, Чаадаев опять пишет Пушкину о том же самом: «О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем...». По-видимому, Чаадаев написал это в июле – августе 1831 года в ответ на пушкинское письмо к нему от 7 июля, но – что было ему свойственно – не торопился отправить свое послание адресату. А 18 сентября, после знакомства с только что вышедшей брошюрой, где были опубликованы пушкинские стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», Чаадаев сделал следующее добавление к своему посланию (и тогда уж отправил его Пушкину):

«Я только что увидел два ваших стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт, вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать... Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране... Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал малую часть той силы, которая нами (то есть русскими. – В. К.) движет, другой раз угадаешь ее наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант...».

Здесь все чрезвычайно многозначительно. Во-первых, уже одно это рассуждение начисто опрокидывает безосновательный миф о «западничестве» Чаадаева. Предшественники западничества А. И. Тургенев и П. А. Вяземский (который, о чем уже говорилось, позднее был склонен как раз к «русофильству») не приняли этих пушкинских стихотворений и, в частности, резко спорили о них с Чаадаевым. Герцен впоследствии говорил (в «Былом и думах») о «негодовании», которое эти стихотворения Пушкина вызвали «у лучшей части нашей журналистики» («лучшей» означает, понятно, близкой Герцену). Во-вторых, «удовлетворение» Чаадаева – настолько глубокое, что он не берется его «выразить», – порождено именно воплощением в пушкинском «Клеветникам России» русского самосознания («в нем больше мыслей, чем их было высказано... за последние сто лет в этой стране»). Выше приведены слова Чаадаева: «...нам незачем бежать за другими; нам следует... понять, что мы такое... Тогда мы пойдем вперед». В письме к Пушкину – та же мысль: «...пусть их говорят (те, кто не принимает пушкинских стихотворений. – В. К.), а мы пойдем вперед...».

Идти вперед – это в данном случае значит осознавать истинный путь России, ее «идею», что, в свою очередь, неизбежно означает то или иное *противостояние* Западу, который идет принципиально иным путем. Пушкинские стихотворения 1831 года были вызваны попытками Запада (в лице его влиятельных идеологов) навязать России свою волю в связи с тогдашним польским восстанием, – вплоть до угрозы военного вмешательства.

Чаадаев исключительно высоко ценил Запад, – о чем мы еще будем говорить. Но он ни в коей мере не мог согласиться с каким-либо западным диктатом в отношении России. Когда позднее, в октябре 1835 года, Николай I, находясь в Варшаве, произнес речь перед представителями польской знати, категорически отвергая попытки Запада повлиять на политику России, Чаадаев воспринял это прямо-таки восторженно. Он написал тогда же об этой императорской речи:

«Могучий голос, на этих днях раздавшийся в мире, в особенности послужит к ускорению исполнения судеб наших. Пришедшая в остолбенение и ужас Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, *больше не принадлежим к Европе*: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась... в данном случае само Провидение говорило устами монарха».

В России эти слова Чаадаева были опубликованы только в 1913 году, когда в его «западничестве» никто не сомневался и никак не хотел усомниться. Между тем эти (как и многие другие) суждения Чаадаева ясно говорят о том, что причисление его к западникам просто абсурдно.

Грубейшее искажение подлинного смысла чаадаевской историософии объясняется в конечном счете тем, что в России готовилась грандиозная революция, и идеологи, так или иначе участвовавшие в этой подготовке, стремились «использовать» в своих целях все и вся. Ведь и в наследии Пушкина выдвигали на первый план произведения, написанные юношей, увлеченным декабристскими вейниями. Между тем в 1826 году в своем «Пророке» поэт сказал о деянии явившегося ему серафима, несомненно имея в виду и эти незрелые свои сочинения:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.